



*Первая
любовь*

Мария Метлицкая
Маша Трауб
Галина Шербакова
Олег Рой
и другие

ЭТИ ИСТОРИИ ВОЗВРАТЯТ
ВАМ ВЕСНУ!

18+

**Роман Валерьевич Сенчин
Маша Трауб
Татьяна Михайловна Тронина
Андрей Валерьевич Геласимов
Мария Метлицкая
Олег Юрьевич Рой
Юрий Васильевич Буйда
Галина Марковна Артемьева
Улья Нова
Валерий Валерьевич Панюшкин
Галина Николаевна Щербакова
Первая любовь (сборник)**

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11293888
Первая любовь (сборник): Эксмо; Москва; 2015
ISBN 978-5-699-82345-1*

Аннотация

«Все возрасты любви» – единственная серия рассказов и повестей о любви, призванная отобразить все лики этого многогранного чувства – от нежной влюбленности до зрелых отношений, от губительной страсти до бескорыстной любви...

Удачлив и легок путь, если точка отправления верна. Этот сборник, первый из серии о вехах любви, посвящен пробуждению чувств – трепетному началу, определившему движение. У каждого из нас своя – сладкая или горькая – тайна взросления души. Очень разные, но всегда трогательные истории о первой любви расскажут вам произведения этой книги, вышедшие из-под пера полюбившихся авторов.

Содержание

Мария Метлицкая	5
Галина Щербакова	12
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Первая любовь (сборник)

- © Щербакова Г., наследники, 2015
- © Трауб М., 2015
- © Панюшкин В., 2015
- © Буйда Ю., 2015
- © Метлицкая М., 2015
- © Геласимов А., 2015
- © Сенчин Р., 2015
- © Тронина Т., 2015
- © Ульянова М., 2015
- © Лифшиц Г., 2015
- © Резепкин О., 2015
- © ООО «Издательство «Эксмо», 2015

* * *

Мария Метлицкая Победители

Тогда ей казалось, что она этого просто не переживет. Глупая, наивная девочка! Пережить пришлось еще много чего. О-го-го, сколько пришлось пережить. Потом она не раз удивлялась человеческим возможностям. А ведь ничего, и не то переживали.

Но тогда все это казалось невозможным, трагическим, непреодолимым. Катастрофой, бедой и даже горьким горем. Он улетал. Скорее всего – навсегда. Да-да, конечно, навсегда. Тогда все уезжали *навсегда*. А возможность встречи была мизерной, минимальной. Почти невозможной и невероятной. Но без веры в эту встречу вообще невозможно было бы жить.

Любовь накрыла их внезапно. Вроде знали друг друга не первый день – правда, так, шапочно. Привет – привет. Одна компания. У него свои дела, у нее, как водится, свои. А тут вдруг такое. Просто обвал, лавина. Торнадо, тайфун. Или смерч. Ну что там еще? Просто встретились однажды глазами, и понеслось...

До его отъезда оставалось полтора месяца. Полтора месяца до вселенской катастрофы. Полтора месяца до неизбежного одиночества. И все эти полтора месяца они ходили за руку – страшно было просто разжать ладони – и считали каждый день. Им становилось все страшнее. У него, конечно, перед отъездом куча дел. У нее – зимняя сессия. Первая. Завалишь – вылетишь из института.

Она ждала его у всех этих бесчисленных контор, где у него был ворох бумажных предотъездных дел. Он ее – у института. Полчаса, час разлуки – и они бросались друг к другу, словно не виделись сто или двести лет. Думать о будущем было страшно. Она – та еще оптимистка. Но, конечно, об этом самом будущем говорили. О детях, например. Спорили. Она хотела двух мальчиков и девочку. Он хотел трех девчонок. Такой вот чудак. Он рассказывал ей, что у них будет светлый дом в прекрасной стране. Большой и уютный. Возле дома будет обязательно зеленая лужайка и позади густой сосновый лес.

– А цветы? – уточняла она.

– Ну, это на твое усмотрение, – соглашался он.

– А когда? – все время спрашивала она.

– Не скоро. – Он был реалистом. – Но обязательно будет. Только для этого надо пережить то, что пережить положено.

– Я смогу. – Она была уверена, что сможет. А как же иначе. Просто без всего этого жизнь обнулилась бы и вообще потеряла всякий смысл. А денечки таяли, улетали. Они еще крепче держались за руки, и казалось, не было такой силы, которая могла бы их разомкнуть.

Он улетал в понедельник.

– Я не поеду в аэропорт, – сказала она. – Не сердись и не обижайся. Просто я не смогу с тобой прощаться.

Он кивнул и согласился. Ту, последнюю, ночь они совсем не спали. Говорили, говорили без конца. Строили свой дом, красили стены, спорили, как назовут детей. Смеялись. Плакали. Любили друг друга истово, как в последний раз. Она гладила его по лицу – хотела запомнить каждую черточку, все его выпуклости и впадинки. Он ловил ее руку и прижимал к своим глазам. Потом она плакала, а он утешал ее и горячо говорил, что лучше ее нет и не будет на всем белом свете. И что у них обязательно, непременно все это сложится – и белый большой дом, и зеленая лужайка, и три девчонки с ее, и только ее, глазами.

В аэропорт она, конечно, поехала. Народу была тьма. А они стояли и опять держали друг друга за руки. И ничего не видели вокруг. А счет времени уже шел на минуты. Объявили

регистрацию. Она завывала в голос – по-простому, по-бабьи, и вцепилась в него. Подруга ей шепнула:

– Приди в себя. Здесь, между прочим, его мать.

Ее почти оторвали от него. Пришло время со всеми прощаться. Он обошел всех. Долго стоял молча, обнимая мать. Потом опять подошел к ней.

– Ну, держись, малыш. Ты у меня сильная. Все выдержишь. Ты точно из отряда храбрых, да, малыш?

Она кивнула.

Он прошел таможенный досмотр. Обернулся, увидел ее глаза. И двинулся к стойке сдачи багажа. Еще пару минут – и он уйдет дальше. На паспортный контроль. И станет недосыгаем, не виден. Последний взгляд. Он поднимает два пальца.

– Victory, малыш! – кричит он и уходит. Все.

Ее кто-то обнимает за плечи, кто-то выводит на улицу и дает прикуренную сигарету.

Ах, боже мой, аэропорт!
Какое воссоединенье пауз
И слез, и чьих-то голосов,
И мысли – что теперь осталось.

Дальше – ничего не будет. Ничего, кроме ожидания писем. Бесконечного ожидания. И беготни по десять раз к почтовому ящику. Но это все будет впереди.

А пока к ней подходит его мать.

– Я подвезу тебя, садись, – предлагает она.

Они садятся в издавшие виды зеленые «Жигули».

Долго молчат. А потом его мать говорит ей:

– Дурочка, ты вот думаешь сейчас, что твоя жизнь закончилась?

Она кивает.

– Глупая, у тебя столько еще впереди. Да что там – столько! У тебя все впереди. Вся жизнь. Ну не раскисай, слышишь?

Она кивает и ревет, как последняя дура.

– Господи, – качает головой его мать. – А что же мне тогда делать? Он мой единственный сын, между прочим. Мне тогда остается только застрелиться.

– Что вы понимаете? Я так люблю его, просто не представляю себе жизни без него.

– Дурочка. А обо мне ты подумала?

Она молчит. А его мать добавляет:

– Ну, родишь, поймешь. А пока – держись, девочка. Это, может быть, первое испытание в твоей жизни. Держись! И пиши ему только веселые письма. Ему там точно хуже и сложнее, чем нам.

Она почти обижается и думает, что никто, никто не может понять ее горя. Даже его умная мать.

Они потом даже подружатся, и она будет приезжать к ней в большую и мрачноватую квартиру на Смоленке, где все будет кричать о нем – и стены, и стулья, и чашки. И на серванте будет стоять его фотография в полный рост: длинные волосы, узкие джинсы, улыбка во весь рот. Она зайдет в его комнату и с закрытыми глазами, как слепая, станет трогать его книги, письменный стол, кровать и прижмет к лицу его клетчатую рубашку, оставленную впопыхах на стуле.

А потом, конечно, будут письма. Австрия, Италия. Рим, фонтан Треви, Колизей. «Итальянки красивые, малыш, но лучше тебя нет. Помню все. Шатаюсь по городу и думаю о нас с тобой. Держись, малыш. Мы справимся, вот увидишь!»

Она обстоятельно и подробно писала ему – сессия, зачеты, экзамены. Родители. Младший брат. Все о друзьях – общих и только ее. О том, что прочла и посмотрела в кино.

Дальше была Америка – и он захлебывался от впечатлений. Он был в восторге от этой страны и опять писал ей про дом с лужайкой и про то, что они увидят весь мир, родят детей и будут счастливы всю жизнь. Непременно.

Она много плакала, очень много. Писала тревожные и наивные стихи. Редко ходила на шумные сборища. Плохо спала ночами. Похудела, осунулась – правда, это ей шло. И еще появилась какая-то загадочность во взгляде.

Один раз он позвонил ей – коротенько, буквально на две минуты. Она опешила – не ожидала. Он кричал в трубку, что по-прежнему любит ее и что его воротит от всех баб и что лучше ее нет на свете.

«Сравнил наверняка», – усмехнулась она. Но не обиделась, нет.

А надо было уже на что-то решаться. На какие-то, между прочим, действия. А это было ох как непросто. Мать и отец, скорее всего, вылетели бы с работы. Бабушка, наверное, слегла бы и вряд ли поднялась. А младший брат? Вынянченный, выпестованный... А институт? Пятнадцать человек на место при поступлении – это так, к слову.

А он все восхищался Америкой – все гениально, все сделано и подогнано под людей. Писал, что работает в пиццерии – весь в муке, но это только начало, слышишь, малыш, только начало. Я обещаю тебе, что у нас будет то, о чем мы говорили. И ради этого я готов на все.

Она немножко оживала – так, по чуть-чуть. Годы брали свое. Нет, конечно же она любила его с прежней силой. И так же ждала писем. Но к почтовому ящику уже бегала не пятнадцать раз в день, а только вечером. Друзья тормозили, звали в компании и... Она перестала пренебрегать приглашениями. Но! Никаких романов. Никаких! Честное слово. Он тоже стал писать чуть реже. Сначала – чуть. А потом просто реже.

Она хорошо запомнила *то* письмо. Так хорошо, что несколько лет могла повторить его наизусть. Казалось бы, это было просто еще одно письмо, как десятки до него – в узких, голубоватых и чуть хрустких конвертах: сначала все про дела и делишки, про учебу в университете – поступил, молодец, умница просто. А потом он написал, что ей надо решить все самой, и только самой. То есть это должен быть *ее* абсолютно осознанный выбор – в смысле смены декораций всей жизни и переезда в другую страну. Он писал очень правильно, умно, тонко и осторожно. Что мы знаем друг о друге, малыш? Ведь не только пуд соли не съели сообща, но даже и крупинку. Только карамельный период, когда глаза закрыты у всех и на все. Только самые нежные слова и самые сладкие поцелуи. А жизнь, между прочим, совместная жизнь – это трудности и препоны. Справимся или нет? Кто же знает. А если не получится, ну, не сложится если... Ты должна быть готова и к этому, и к самостоятельной жизни *здесь*.

Она все поняла. И даже не обиделась. Ей, стыдно признаться, стало легче. Даже просто совсем легко. Просто – камень с души. И глубокий вздох облегчения. Ведь было страшно *так* ломать свою жизнь – и не только свою, а всех своих близких. Да и вообще, при принятии судьбоносных решений не много героев. И она, как оказалось, тот еще герой. Пусть все считают наоборот, но она-то знает себе цену. А дальше он опять писал, что любит ее и что скучает, конечно, в общем, все как обычно. Но это уже не было так актуально.

Больше она ему не писала. Вслед тому письму он еще написал два последних – коротких и каких-то смущенных. Спрашивал, в чем дело. Грустно шутил, что она нашла ему замену. Но сам был умен – все понял.

А через год она вышла замуж. По любви, между прочим. Через два года родила сына, а еще через три – второго. Всяко, конечно, в их жизни бывало – но брак все же сложился. Крепкий, вполне дружественный, партнерский брак. Муж позволил ей сделать карьеру, и она всегда это помнила. К тому же отец он был чудесный – мальчишки его обожали. Купили квар-

тиру, машину. Построили дачу. Ездили в отпуск. Она написала кандидатскую. Получала чуть больше мужа, но хватало ума расставить все грамотно, без обид. Домашнюю работу в основном делал муж, давая ей возможность писать вечерами в спальне свои доклады, рецензии, статьи. У него тоже хватило ума задвинуть свои амбиции и гордиться женой. За все эти годы они приспособились друг к другу, притерлись. Знали все выбоинки друг друга, все впадины, кочки и буераки. Словом, стали одним целым. Монолитом. Крепостью. Попробуйте, троньте! Фиг выйдет! Вместе мы – сила! У них правда была хорошая, крепкая семья.

На конференцию в Нью-Йорк она попала в самом начале нового столетия. Тогда все приурочивалось к гладкому и волнительному слову «миллениум». Нет, она много ездила и до того – вся Европа, Китай и даже Австралия. Ее статьи печатали крупнейшие научные журналы. Ее любили приглашать в президиумы, еще бы – совсем молодая женщина, известный ученый и к тому же еще и хороша собой. А вот в Америку попала тогда впервые.

Накануне в аэропорту она сильно подвернула ногу – дура, идиотка, надо же было выпендриться на двенадцатисантиметровых каблуках. Теперь придется мучиться, сама виновата. Поселили их на Манхэттене, на Парк-авеню, в Waldorf Astoria – отеле, где останавливаются президенты. После ужина, обязательного мероприятия, она, уставшая, с больной ногой, села в кресло под торшером, достала из сумки записную книжку и набрала его номер.

Конечно, у нее был его номер – столько общих знакомых. Она кое-что знала о нем, пунктиром – женился, развелся, опять женился, есть дочь. Карьера состоялась, хотя все от него ждали большего. Живет в пригороде, в своем доме, разумеется. У кого в Америке нет своего дома!

Он узнал ее сразу:

– Вика, ты?! Ты здесь, в городе! На сколько? Так мало? Господи, когда мы увидимся? –

Он был смущен и точно – рад.

Она ответила, что завтра у нее свободный вечер. Только завтра, и то – пару часов. Она назвала ему свой отель, и он присвистнул:

– Ого! Ты даешь, девочка!

– Да брось, – ответила она. – Все эти понты уже не для нашего возраста.

Они посмеялись.

Вечером следующего дня, в восемь по Нью-Йорку, она вышла в холл отеля. Юбка, пиджак, лодочки на каблуках, ухоженное лицо, маникюр, прекрасная стрижка. Интересная, дорогая женщина сорока лет. Мать двоих детей. Известный ученый. В общем, жизнь удалась. Правда, слегка расстроилась, глядя в зеркало: и морщинки под глазами, и лишний вес – увы, увы. Узнали они друг друга сразу. Он поднялся из кресла и пошел ей навстречу. Она успокоилась: его тоже жизнь потрепала – и пузцо наметилось, и лысина просвечивает.

Он подошел к ней:

– Прекрасно выглядишь.

Она махнула рукой.

Они зашли в маленькое кафе – три столика справа от лобби. Заказали кофе и коньяк. Разговор не клеился. Она взяла инициативу в свои руки. Больше говорила сама – в основном о командировке, о своем докладе. Потом коротко – о детях, муже, родителях. Дача, квартира, машина. Отпуск в Греции. Вспомнили старых друзей и с удовольствием посплетничали.

– Ну а ты? – спросила она.

Он пожал плечами:

– Всяко бывало. Разно. Был бизнес – потерял. Потом поднялся, с большим, надо сказать, трудом. Первый брак оказался неудачным – пробным, как говорят. Есть дочь. Прекрасная девочка, но чужая. Совсем чужая. Лет десять после этого был в свободном полете – осторожничал. Потом, слава богу, встретил хорошую девушку, американку. Большая умница,

но иногда мы все же не понимаем друг друга. Слишком разная ментальность, как говорят сейчас. Да и разница в возрасте приличная. Купил дом в хорошем районе. Отдыхать люблю на Майами. Одним словом, жизнь удалась – жаловаться грех.

Она посмотрела на часы, и он перехватил ее взгляд:

– Торопишься?

– Не то чтобы очень, но завтра у меня доклад. Тяжелая неделя, да еще смена поясов – ночью совсем не спала, а днем как сонная муха.

Он предложил свои услуги – показать город, провести по магазинам.

– Что ты, – отмахнулась она. – Вся неделя расписана: завтрак, ужин, конференция, доклад. Всего один свободный день, да что там день – полдня, с обеда. У нас гид, машина – все покажут, всюду отвезут. Да и какие магазины – у нас же все есть. Все то же самое, что здесь. Может быть, только подороже.

Он улыбнулся:

– В это невозможно поверить.

– Что ты, – воодушевилась она. – А рестораны, кафе! Москва – красавица. Абсолютная Европа.

Он слушал и кивал. Она спросила:

– А приехать не хочешь?

– Нет. – Он грустно улыбнулся. – У меня там ничего не осталось, кроме воспоминаний. А они и так со мной. Вот так. С возрастом стал сентиментален, – попытался оправдаться он.

– Это нормально. Так у всех, – откликнулась она. Потом встала и протянула ему руку.

Он покачал головой:

– Ну, ты, мать, даешь! – Шагнул к ней и обнял ее за плечи, чмокнул в щеку: – Ну, желаю тебе.

– Тебе тоже! – Она улыбнулась и провела рукой по его щеке.

Ночью опять не спалось. «Черт, хороша же я завтра буду!» Она зажгла свет, села на кровати, посмотрела на часы. Спать ей оставалось меньше шести часов. Она взяла телефон и набрала свой домашний номер. Трубку снял муж и удивился:

– Викусь, не спится?

– Не-а, совсем. Ну как вы там, как Лешка, как Сашка? Как управляетесь без мамы?

Муж рассмеялся:

– Ну, мы люди привычные, нас пылесосом и борщом не испугаешь.

Потом он рассказывал ей про мальчишек – отметки, секция тхеквондо у старшего Лешки, бассейн у младшего Сашки. Что едят, как едят, мирно ли живут, какая погода в Москве.

– Как мама, как свекровь? Да, да, командировка удачная, завтра доклад, конечно, психую. Еще сильно подвернула ногу – вот тебе итальянские туфли, каблуки двенадцать сантиметров, мать их. А завтра доклад – не в кроссовках же идти. – И она долго жаловалась ему, что она очень нервничает перед докладом: – Мне кажется, он сырой, да и с английским у меня, ты же знаешь, совсем не блестяще.

Муж успокаивал ее:

– Ты справишься, зайка, не психуй, справишься. Ты же у меня победительница!

– Ах, как ты в этом заблуждаешься! – грустно ответила она.

Потом они поболтали еще минут пять – так, ни о чем, – и муж сказал, что надо бежать на работу.

Хромая, она пошла в ванную, набрала холодной воды и опустила туда слегка опухшую ступню. Стало легче. Потом туго замотала ногу полотенцем, выпила снотворное и попыталась заснуть. Перед глазами стояла заснеженная Москва образца 80-го. Крупные снежинки кружили под фонарем в плавном и медленном вальсе. Отчаянно мерзли ноги и руки. Он снял

с нее варежки и долго целовал и дышал на ее озябшие пальцы. Она смеялась и пела ему любимую песню:

Сашка, ты помнишь наши встречи
В приморском парке, на берегу?
Сашка, ты помнишь теплый вечер,
Весенний вечер, каштан в цвету?

А он уверенно говорил ей, что у них будет сто, нет, тысячи вечеров на море, под каштанами или пальмами – какая разница? Она плакала и соглашалась – действительно, какая разница.

И еще она вспомнила аэропорт, его последний прощальный взгляд и поднятые вверх пальцы – указательный и средний: Victory, малыш! Мы победим, мы выдержим! Victory – победа и ее имя, кстати. Не случайно, наверное. Ей негоже было проигрывать. Не по ранжиру. Впрочем, проигравшей она себя не считала. Она встала, подошла к окну и закурила.

Какая чушь – эта их прошлая жизнь. «Все это так далеко, что и помнится плохо, – врала она себе. – Короче, там, за горизонтом, там, за облаками. Там. Там-тарам. Там-тарам». Ничего этого уже и в помине нет. Как нет и той девочки с заплаканными глазами и опухшим носом. Девочки, верящей в светлое будущее. Теперь была жизнь. Здесь и сейчас. Полная компромиссов и жестких решений. Полная борьбы и схваток не на жизнь, а на смерть. А ничего, выстояла. Пережила. Переживет еще – о-го-го. Дай только, господи, сил. Она справится. Утрет соплю – и будет жить дальше. Красивая. Сильная. Успешная. Мужнина жена. Мать двоих детей. И она не позволит себе раскиснуть – ни-ни. Такой опыт, господи. Не позволяй себя втянуть в душный омут воспоминаний. Там она уже давно расплатилась. По всем вексялям.

Утром болела от снотворного тяжелая голова. Она вытащила из морозилки лед и протерла им лицо. Заказала кофе в номер – двойной эспрессо с сахаром и лимоном. Рассмотрела свою ногу – опухоль не спала, и появилась краснота. Она вздохнула и стала одеваться. Позвонил коллега и сказал, что через пятнадцать минут ее ждут в конференц-зале. Она надела белую шелковую блузку, нитку жемчуга на шею, узкую черную юбку, сунула ноги в ненавистные узкие лодочки – черный лак, узкий нос, высоченные каблочки. Триста долларов, между прочим. Скривилась от боли. Хромая, дошла до двери и открыла ее.

Так! Выпрямить спину, подобрать живот, грудь вперед, подбородок туда же, голову чуть откинуть, не забыть про улыбку. Да, и главное – не хромать. Победительницы не хромают. Будем обманывать людей дальше.

Она шла по мягкой ковровой дорожке к лифту и думала о том, что ей больше всего на свете хотелось бы послать всех к чертям собачьим и улететь домой. Помазать ногу фастум-гелем, перебинтовать эластичным бинтом и лечь в свою кровать. А на тумбочке будет стоять чай с лимоном и лежать любимая книжка. И слушать, как за дверью устраивают разборки ее сыновья, а муж одергивает их: «Тише, мама отдыхает!»

«Ничего! – подумала она. – Неделя пролетит быстро».

Она вызвала лифт – он тотчас бесшумно распахнул свои двери, она зашла в него, нажала кнопку лобби, улыбнулась и посмотрела на себя в зеркало.

* * *

Он приехал домой, поставил машину в гараж и тихо прошел на кухню. Достал из холодильника початую бутылку водки – и залпом выпил стакан. Будить жену не стал и бросил

подушку на диван в гостиной. Закрыв глаза, но даже водка не помогла – сна не было ни на минуту.

Он думал о том, что она будет в этом городе еще неделю. Целую неделю! И он наверняка не увидит больше ее, потому что звонить ей было бы невероятной глупостью – он это отлично понимал. Но знать, что она будет рядом – в часе езды от него – еще целую неделю! Да ладно, что там неделя – смешно. Вот жизнь пролетела – не успели оглянуться. А тут всего лишь неделя!

Промучившись еще часа полтора, он включил телевизор без звука и стал смотреть какой-то дурацкий старый фильм. Потом взял телефон и набрал номер дочери. В штате Калифорния, где она жила, сейчас был день.

– Hi, Vicky, – сказал он ей. – How are you?¹

Дочь бодро отрапортовала и быстренько закруглилась – у нее были свои дела.

* * *

К обеду она вернулась в свой номер – у двери стояла корзина с розовыми лилиями. Она поставила цветы на журнальный столик и вытащила маленькую глянцевую карточку, прочла имя отправителя и усмехнулась – теперь его звали Алекс.

– Алекс, – повторила она вслух.

Потом посмотрела на часы, разделась и быстро пошла в душ. Долго стояла под прохладной водой и мурлыкала что-то себе под нос – доклад прошел успешно, и она осталась довольна собой. Через час ее ждала машина – предстояла экскурсия по городу, ну и магазины, естественно. Все равно с пустыми руками не приедешь – Америка все-таки. Хотя глупо опять что-то тащить – у нас же все это есть. Пусть даже дороже. Она раздвинула тяжелые плотные шторы и увидела прекрасный и великий незнакомый город. Надела джинсы и кроссовки – нога нестерпимо болела, – выпила таблетку болеутоляющего и опять успокоила себя, что неделя пролетит быстро, не успеешь оглянуться.

Да ладно, что там неделя – смешно. Вот жизнь пролетела – не успели оглянуться. А тут о чем говорить – какая-то неделя!

¹ Привет, Вики! Как ты? (англ.)

Галина Щербакова Вам и не снилось

1

Таня, Татьяна Николаевна Кольцова, уже восемь лет не была в театре. Билеты, которые возникали то стихийно, то планоно, она сразу же или в последнюю минуту отдавала. И успокаивалась.

А тут не спасешься – ее бывший театр пригласили на гастроли в Москву. Это – о-го-го! – какое событие! Она знала: там, в театре, уже готовят представление к наградам и званиям, сшиты новые костюмы, актрисы срочно красят волосы в модный цвет.

Возбужденные, все в ожидании необыкновенных перемен, с блестящими глазами, бывшие подруги нашли ее в Москве и категорически заявили: не придет на премьеру – вовек не простят...

– У нас такая «Вестсайдская», что вам тут не снилось...

«Не спасись», – подумала Татьяна Николаевна.

Целый день она ходила сама не своя. Идти в театр, где началась и кончилась твоя карьера, идти, чтобы переживать именно это, независимо от того, что будет происходить на сцене, а потом говорить какие-то полагающиеся слова, и вместе сплетничать после спектакля, и отвечать на тысячу «почему»...

«Ведь школа нынче – ужас! У детей ничего святого! Неужели не было более подходящего варианта? Это что, жертва?»

Таня заранее знала все эти еще не произнесенные слова. Но дело было даже не в них. Ей действительно не хотелось идти в театр. Не хотелось смотреть эту потрясающую «Вестсайдскую», стоившую Таниной подруге Элле переломанного ребра: они там по замыслу режиссера все время откуда-то прыгали.

– Ничего, срослось, как на собаке, – сказала Элла. – Но я теперь не прыгаю. Я раскачиваюсь на канате.

И говорилось это так вдохновенно, и было столько веры в этот канат, и прыжки, и в «гени-аль-ного!!» режиссера, что Таня подумала: с тех пор как она стала учительницей, такая самозабвенная детская вера ее уже не посещает. Умирая, мама ей говорила: «Мир иллюзий тебя отторг. На мой взгляд, старой рационалистки, это не так уж плохо... Живи в жизни... А школа – это ее зерно. Всегда, всегда надежда, что вырастет что-то стоящее... Не страдай о театре. Ты бы все равно не смогла всю жизнь говорить чужие слова...»

Мама умирала два месяца, и таких разговоров между натисками боли было у них немало. И мама все их отдавала Тане. Ломились к ней ее коллеги по научной работе, ее аспиранты, соседи – не принимала. Объясняла Тане:

– Я тебя так мало видела. Это у меня последний шанс. Мое счастье было в работе. Это не фраза. Это на самом деле. Что такое модные тряпки, я не знаю. Я не знаю, что такое материнство, – с трех месяцев тебя растило государство. Я не путешествовала, не бывала на курортах, не обставляла квартир гарнитурами, я ни разу не была у косметички. Мне даже любопытно – это не больно? Все беременности были некстати – не сочетались с моим делом. Я даже не плакала, как полагается бабе, жене, когда разбился твой папа. У меня на носу тогда была защита докторской. Поверишь, в этом была какая-то чудовищно уродливая гордость: у меня несчастье, а я не сгибаюсь, я стою, я даже иду, я даже с блеском защищаюсь...

А Таня видела: она и сейчас гордится этим. В маме это было главное – преодоление всего, что мешало ей работать и ощущать себя большим, значительным человеком. И как ни тяжело было Тане, как ни любила она маму в эти последние дни, мысль, что и теперь своими иронично-афористичными речами мама прежде всего сохраняет себя, а уж потом хочет что-то разъяснить, приходила не раз. И тогда она мысленно спрашивала: может, именно в маме умерла артистка? А она ее так жалко, бездарно подвела, не сумела сделать то, что предназначалось ей? И утешает мама сейчас себя, а не ее, неудачницу? Иначе зачем так настойчиво? С такой страстью?

– ...Какая ты Нина Заречная? У тебя же аналитический ум и ни грамма рефлексий. Ты антиактриса по сути.

Мама утешала и утешалась. Ведь тогда прошел всего год, как Таня ушла из театра. И последние слова мамы были: «Живи в жизни».

И все было нормально эти семь лет, пока не свалился на голову театр из прошлого со своей «Вестсайдской историей». И мама вспомнилась в связи с ним. Она же: «Не ходи в театр, плюнь! Пока не освободишься от комплекса. Читай! Это всегда наверняка интересней – первоисточник, не искаженный чужим глупым голосом».

Родилась спасительная мысль – раз уж идти, то она возьмет в театр свой класс. Правда, она его еще не знает, ей дают новый, девятый. Но уже конец августа, списки утрясены, через ребят, которых она учила в восьмом, можно будет собрать человек десять. Убьет сразу двух зайцев. Посмотрит «на материал», с которым ей придется работать, и спасется от последующего после спектакля банкета, где надо будет всех безудержно хвалить, сулить звания и одновременно убеждать под сочувствующие и неверящие взгляды, что она вполне довольна работой в школе. Она скажет: «Я здесь с классом. Я с вами потом».

Таня пригласила в школу Сашку Рамазанова. Он пришел в грязных джинсах и рваной полосатой тенниске.

– Я думал, надо что-нибудь покрасить или подвигать, – сказал он. Театральная идея его не увлекла и насмешила. – Ну, Татьяна Николаевна! – картинно воскликнул он. – Пригласили бы на Таганку или в «Современник»... А какой нормальный человек пойдет смотреть приезжающую на показ периферию... Этот номер у вас не пройдет. Гарантирую...

– Не будь снобом, – сказала Таня. – У них молодой гениальный режиссер, и весь спектакль – сплошная новация. К тому же там хорошая музыка.

– Разве что... Ладно... Попробую. Может, от скуки народ и соберется.

– Напрягись, – сказала Таня. – Мне очень хочется пойти с вами.

Сашка посмотрел на нее пристально. Поведение учительницы было, на его взгляд, лишено логики: тащиться в театр, да еще в неокончившиеся каникулы, с классом? Больше не с кем? Но Татьяна Николаевна, хоть ей уже и за тридцать, женщина вполне. Сашка охотно пошел бы с ней сам, единолично. Он высокий, здоровый уже мужик, детвора во дворе зовет его «дяденькой». Так что вместе они бы гляделись... Но она, милая их Танечка, тащит с собой класс, что ненормально и противоестественно, хоть сдохни. Но просьба есть просьба, поэтому Сашка обещал обзвонить и обежать народ в ближайшем округе и человек десять подбить «на эксперимент».

– Но если будет дрянь, – сказал Сашка, – я не отвечаю. И буду просить у вас защиты от гнева народов. Побьют ведь!

Спектакль казался никаким. Что называется, не в коня корм. Может, новый режиссер и был талантливым, что-то он напридумывал, но актеры!.. Ни одного, ну просто ни одного нефальшивого слова. И от этого придуманная форма торчала обнаженным каркасом, то ли оставшимся от пожара, то ли брошенным строителями по причине нехватки материалов.

Танины ученики умирали со смеху. Их надо было просто убирать из зала за нетактичное поведение.

– А я предупреждал, – многозначительно сказал Сашка. – Я верил и знал: будет именно так.

Вообще он держался не как ученик, а как Танин приятель. Таня подумала: пожалуйста, проблема. Надо сразу ставить его на место. Хороший ведь мальчишечка, просто от роста дуреет... И посмотрела на его дружка Романа Лавочкина – еще выше. Господи, куда их тянет! Но с Романом ничего подобного не будет, он мальчик книжный. Вот и сейчас он:

– Татьяна Николаевна! А как проверить – не был ли Шекспир трепачом? Я к чему... Современное искусство о любви – такая брехня, что, если представить, что оно останется жить на пятьсот лет...

– Не останется, – сказал Сашка. – Не переживай.

– Теперь любовь только пополам с лесоповалом, выполнением норм, общественной работой...

– Сейчас ты смотрел любовь пополам с расизмом, – сказал Сашка. – Если тебя смущают только примеси в этом тонком деле, то их было навалом и у древнего человека. Чистой, отделенной от мира любви нет и не может быть.

– А я не люблю винегретов, – ответил Роман. – Вот почему меня волнует правда о Шекспире.

– Без примесей только секс, – с вызовом выложил Сашка и посмотрел на Таню: «Как вам моя смелость? Мой образ мыслей? Широта воззрения?»

Девчонки гневно, но заинтересованно завизжали:

– Скажите ему, Татьяна Николаевна! Скажите!

– Я согласна с Сашей, – сказала она. – Любовь всегда бывает в миру и среди людей. Это жизнь в жизни («Мама!» – печально вздрогнуло сердце).

– Понял? – Сашка хлопнул Романа по спине. – И будут тебе из-за любви вредные примеси в образе двоек, скандалов дома, а потом – что совершенно естественно – будет лесоповал...

– Видел я такую любовь в гробу и белых тапочках, – ответил Роман. – Любовь сама по себе целый мир. Должна быть такой, во всяком случае.

Расхотелись по-доброму. Уже дома Таня подумала: интересный парень Роман. А какие у нее девчонки? Она толком их и не увидела. Правда, против секса они завизжали дружно, что ни о чем еще не говорит. Это вполне может оказаться жеманством, а не целомудрием, лицемерием, а не добропорядочностью.

...А потом, в бессонницу, снова пришла к Тане мама. Она села в ногах в своем старом-престаром махровом халате и сказала своим сломленным болезнью голосом:

«...Я все думаю о любви, Таня! Это невероятно, сколько я о ней думаю. Мы поженились с папкой перед самой войной, и у нас была возможность поехать на пару недель к морю. Мы отказались. Папа из-за каких-то цеховых дел, я из-за ремонта в институте. Без меня, видите ли, не могли покрасить наличники. И сейчас я думаю о том, как я не ходила с папой босиком по пляжному песку, как он не растирал мне спину маслом для загара. Понятия не имею, было ли тогда такое? Как мы не целовались в море, в брызгах... Сплошное НЕ... Недавно у одной писательницы прочла абзац о поцелуях. Ей не нравится, как теперь целуются: откровенно, бесстыдно... А мне нравится... Я бы так хотела... Я буду думать о любви до самой смерти... Ах, черт, как не хочется умирать! Что за судьба у нас с отцом – он в тридцать семь, я в сорок семь... Какой-то злодей нас безбожно обокрал... Вся надежда на тебя, Танюша. Чтоб ты жила взахлеб за нас троих...»

Мама была всю жизнь поглощена делами института, делами лаборатории, и такая вот тоскующая о пляжном песке женщина становилась для Тани непонятной и даже чужой.

Только на похоронах, среди венков и соболезнований, среди невероятно большой толпы вокруг такой маленькой, почти невесомой женщины, Таня вновь обрела ту маму, которую всегда знала, любила и побаивалась.

Почему же так получилось, что теперь – и чем дальше, тем чаще – в ногах ее садилась женщина в махровом халате, тоскующая о любви?

Таня знала ответ: мать приходит, потому что дочь не оправдала ее надежд. Она не живет взахлеб, за троих. В сущности, у нее, как и у мамы, в жизни есть только одно – работа.

* * *

Первое сентября полагается считать праздником. За годы работы в школе Татьяна Николаевна научилась понимать и ценить многое в школе, но первосентябрьское ликование ее всегда выводило из себя. Цветы, фотоаппараты, шефы с завода с тоскующими глазами, представители вышестоящих организаций, прячущие за приветливостью тайный инспекторский взор, сутолока, нервы, а в результате обязательно пустые уроки, потому что после всего на «отдать» и «получить» уже просто ни у кого не хватает сил.

И в этот раз она до последней минуты не выходила на школьный двор, наблюдала суету из окна. Увидела Сашку, без единой книжки, но с газетой. Он тряс ею над головой и собирал вокруг себя народ. «А! – подумала Таня. – У него рецензия на «Вестсайдскую историю». Она ее прочла вчера.

В рецензии было все: «нервная ткань формы на аспидно-черном фоне...», «пластичное страдание» и «бьющая наотмашь символика». Были эпитеты – «незаурядный», «мыслящий», «ярко индивидуальный» и прочее. И сейчас, глядя, как Сашка читает ребятам рецензию «Гимн любви», она вдруг поняла: первое сентября она не воспринимает именно потому, что оно ей напоминает театр, день «сдачи спектакля». Там тоже ходят переполненные ответственностью инспектора от культуры и смущенные непривычностью положения шефы. Таня так обрадовалась, разобравшись наконец в своей первосентябрьской идиосинкразии, что тут же пошла во двор, туда, где громко читался «Гимн любви».

Те, кто ходил с ней в театр, бросились навстречу. Остальные смотрели со стороны. Таня почувствовала легкое недоумение от образовавшегося неравенства в отношениях. «Это ничего, – подумала она. – Утрясем».

– Оказывается, – сказал Сашка, – мы, Татьяна Николаевна, эстетически не развиты. Спектакль-то – штука! А мы смеялись, как лошади...

– Классический пример выдавания желаемого за действительное, – объяснял Роман. – Рецензент не дурак. Он написал о том, что могло бы быть, если бы из этого что-то вышло...

– Умники! – фыркнула Алена Старцева. Она хотела привлечь к себе внимание, потому что подстриглась и никто еще ничего не сказал по этому поводу. Алену Таня знала по восьмому классу.

– Тебе идет стрижка, – сказала она ей. И Алена вся засветилась.

К этой девочке было сложное отношение, но Таня с ней ладила. Сейчас ее волновало другое: новенькие. Те, что пришли из новостроек. Восемь лет в одной школе, девятый в другой. Это всегда сложно. И сейчас они в стороне. В театр не ходили, рецензию не читали, реплики Сашки и Романа до них не доходят... Сколько их таких? По списку десять. Десять и есть. А за их спинами, наверное, родители. Смотрят настороженно, готовы защищать своих хоть и больших, но все-таки детей. Вдруг не так встретят!

И тут истошно, театрально зазвенел звонок. Пока шли приветствия через мегафон, Таня разглядывала своих ребят. Ей полагалось уйти туда, на школьное крыльцо, и взирать на все с полагающейся высоты, но она осталась у ограды, ближе к новеньким, на лицах

у которых от первых же речей появилось выражение умиротворенной скуки: в новой школе начинается, как в старой. Тоска...

Таня уже привыкла к тому, что все дети теперь очень большие. Но этот ее класс был прямо-таки великанский. Юбочки из модной замши – директриса добилась для старшеклассников «вольной одежды», пока не придумают что-нибудь посовременней, – так вот юбочки из модной замши трещали на туго обтянутых бедрах девчонок; пятки стыдливо свисали над тридцать девятым размером босоножек, колени, грудь, губы – все было откровенно и напоказ. И парни тоже ничего себе стропили. Все по метр восемьдесят-девяносто, но худы-ы-е! Ни одного мальчишечьего румянца на класс, все как из голодного края. Таня однажды поинтересовалась у врача – отчего, мол? Та махнула рукой: «Все в порядке. Худые? Дольше будут жить. Бледные? Это пламенный привет от мерцающего телевизора. Девочки другие? Они уже сформировались. Ясно? И вообще: чего вы волнуетесь? Все равно в основе своей это поколение гипертоников, язвенников, сердечников. Других теперь не рожают. Не умеют. Потому что кто рождает? Гипертоники, язвенники, сердечники...» Их школьный врач – большая оптимистка. После разговора с ней ощущаешь радость обладания двумя (а не одной) ногами, умением откусывать и пережевывать, испытываешь благодарность к грудной клетке, что она крепкая, костяная.

В микрофон громко откашлялся шеф.

– Давай, пролетариат, давай, произнеси слово, – сказал Сашка.

Девятый захихикал. Таня подумала: директриса потом ей скажет: «Ваши, деточка, вели себя хуже всех, потому что – как они говорят? – им хотелось выпендриваться перед вами. Зря вы с ними стояли».

Она подошла к Сашке и встала рядом. Сашка приставил к своему рту кулак и потыкал им в зубы. Делай после этого замечания. А Роман вообще сидел на камне и перечитывал рецензию. С высоты своего роста заглядывала в газету Алена – от Романа она не отходила, делала вид, будто ей тоже интересно, что там написано. Типичная здоровячка, она была чем-то похожа на актрису Нонну Мордюкову периода «Молодой гвардии» и страшно этим гордилась.

Потом, вспоминая этот первый день, Таня была убеждена: Юльки среди новеньких не было. Ведь она даже их считала, по списку все сходилось, а Юльку она не разглядела.

Митинг закончился, и все пошли по классам. Таня довела своих до двери, пожелала ни пуха ни пера, услышала от Сашки «к черту» и пошла на уроки. В девятом в этот день у нее часов не было. И слава богу, пустые, ох, пустые эти уроки первого сентября. А день выматывающий...

Таня медленно брела домой и думала: вот и еще один год начался. Надо будет знакомиться с родителями, надо будет забрать из химчистки свой темно-синий костюм, скоро станет прохладно, и он ее снова надолго выручит. Надо будет поговорить с Эллой. Сказать: пусть не очень страдает, если уедет режиссер. Ребра будут целее. И вообще пусть выходит замуж за своего автомеханика. Не принцесса! Правда, подруга спросит: «А сама? Живешь в Москве в изолированной двухкомнатной квартире, да только свистни...» Таня знала, что все в конце концов кончится разговором о квартире и замужестве, поэтому-то и избегала подругу. Элла напоминала маму. Та тоже, за два года до смерти, получив наконец изолированную квартиру, все не могла прийти в себя от свалившейся на нее роскоши. Маму потрясали квадратные метры и возможность закрыть дверь в своей комнате; санузел, куда можно было войти в любой момент и где пахло дезодорантом.

Дома Таня расставила цветы, с которыми вернулась из школы, хотела немедленно сесть за письменный стол, но силой увела себя в кухню. Это же типичная патология: после работы сразу за работу, тем более что завтрашний урок у нее в девятом – вводный. Она любит его, она на нем – нелепое сравнение! – как торговец-зазывала, раскрывает перед людом «товар» –

литература XIX века – ах, чего тут только нет, и все бесценно, никаких денег не хватит, но она все отдаст за малую толику, за каплю интереса. «Ничего себе малая толика, – подумала Таня, бесцельно трогая маленькие беленькие кастрюльки на полке. – Поесть, что ли?» Торговец-зазывала звенел в ней, вертел ею, как хотел, и она плюнула на беленькие кастрюльки. Таня вернулась к письменному столу, и мама укоризненно посмотрела на нее с портрета.

Но зря смеялся над ней торговец-зазывала, Таня вдруг почувствовала, что «торговых рядов» литературы она завтра строить не будет. Она расскажет им о другом. О том, что они целый год будут говорить о любви – такой у них материал.

Потом, через время, она вспомнит, как ушла от маленьких кастрюлек к столу, как, перегоня друг друга, теснясь, подкатывали к горлу еще не высказанные, просящиеся на волю слова. Как подчинилась она внутренней силе, заставившей ее поломать апробированный, симпатичный план урока, который столько лет ее не подводил. И Таня потом скажет: «Это я во всем виновата. Я их так настроила». А пока она делала торопливые заметки, радуясь ощущению откровения: как это ей, тупице, раньше не пришло в голову, что все ее уроки о любви? Она им покажет «примеси в виде лесоповала». Ах, боже мой! Как им много надо объяснить...

Она работала до ночи, а когда легла, на краешек кровати села мама:

«...Я бы не взялась на твоём месте учить людей любви... Что ты о ней знаешь? Все книжное, книжное... Ты наркоманка. Фу!» Мама зло рассмеялась, но ушла быстро. И это было хорошо, правильно.

* * *

– Ну и Танечка! – сказал Сашка, когда они с Романом возвращались домой. – Будем изучать любовь.

– Она смешная, – ответил Роман. – Ей кажется: она придумала хитрый ход. А ведь ежу ясно, что она – Иван Сусанин и заманивает нас в дебри, чтобы спасти от секса. Между прочим, это ты ее вынудил своей солдатской прямоотой.

– Мы уже не дети, – басом сказал Сашка, – чтобы нас водить за нос.

– Ты все-таки балда, – беззлобно сказал Роман. – При чем тут «за нос»? Я сказал – в дебри. В чащобу духа. А секс, он где? Он на опушке.

– Ну, знаешь, – ответил Сашка, – если он на опушке, то чего я пойду в дебри? Я что – дурак?

– Не прикидывайся скотом, – сказал Роман. – Поэтому и пойдешь за Танечкой, потому что она Сусанин. Это как пить дать... И еще она девушка обаятельная, за ней приятно идти...

– Смысла не вижу...

– В чем?

– В дебрях.

– Это, солдатик, называется нравственным воспитанием, – засмеялся Роман. – Запомни.

– Как тебе новенькие? – перевел на другую тему Сашка. – По-моему, серость...

– Пусть живут, – великодушно разрешил Роман. – Мне вообще кажется, что сейчас все люди на одно лицо... Знаешь, как заметил? Перестал различать дикторш по телевидению. Все с глазками, все с носиками, все с волосиками, и – никакой разницы: кто есть кто. А потом огляделся – батюшки, все люди не просто братья, а однойцовые близнецы.

Сашка подозрительно посмотрел на Романа. На него всегда надо так смотреть. Он «прикольный» парень. Такое заявление об одинаковости человечества вполне может быть задуманной провокацией: вызвать Сашку на разговор, в котором он ни бэ, ни мэ, а Роман всю проблемку обсосал и обдумал до зернышка.

– Есть индивидуальности, – пробурчал Сашка.

– Их все меньше, – сказал Роман. – Очень долго не было ситуации, при которой личность проявляет свой максимум. Война там, голод, оледенения... Все живут одинаково, и все становятся похожими друг на друга...

– Ну ты даешь! – разозлился Сашка. – Все живут одинаково? Где ты это видел? Ты что – дурак? У одних машины, у других – от полочки до полочки, одни ничем не гнушаются, а другие всю жизнь в трамвае стоят, потому что стесняются сидеть. Одни верующие во что-то до тошноты, другие ни в бога, ни в черта...

Роман скривился.

– Нельзя же понимать все буквально... Во всеобщей одинаковости тоже градация от нуля до ста, к примеру. Все, что ты говоришь, сюда укладывается. Просто, чтобы стать личностью, надо выйти за эту градацию.

– И что сделать?

– В том-то и дело, что, когда ищешь, что сделать, это тоже поиски внутри градации. Что может придумать ординарный человек?

– Ну знаешь, войны я не хочу, – сказал Сашка.

– А я хочу? Но машина даже в экспортном исполнении – тоже пошлость.

– Так полети в космос!

– Мне это неинтересно, – с вызовом сказал Роман. – Понимаешь, меня всерьез гложет...

Сашка пожал плечами. Конечно, он мог сказать, что когда у человека нормальный, непьющий отец и заботливая мать, когда у него никаких проблем с братьями и сестрами, когда рубль в кармане всегда, а иногда и трояк, то, конечно, пристало время подумать об оледенении. Но он этого не сказал, потому что получалось, будто он цитирует собственную мать, у которой было хобби: коллекционировать страшные истории. Мать Сашки работала секретарем в суде, и информация у нее была очень однообразная. Если учесть, что муж ее, отец Сашки, запивал, что сестренка Сашки имела врожденный порок сердца, а бабушка в свои шестьдесят погуливала, как молодая, то прямо можно сказать: проблема рождения индивидуальности в семье остро не стояла. Мать так стремилась, чтоб все у них было, как у всех, как у людей. Вот, оказывается, в чем был гвоздь. А индивидуальность – это с жиру. Это чтоб себя показать: «Вот у нас проходило дело...»

И Сашка молчал, хотя что-то в словах Романа вызывало его протест. Может, просто умничанье?

– Смотри, – сказал он. – Новенькая.

Им наперерез прошла Юлька.

– Я ее где-то видел, – Роман проводил глазами девочку. – Или это опять путаница с лицами?

– Ты ее видел сегодня в школе, – ответил Сашка.

– Нет, не в школе, – твердо сказал Роман. – В школе я ее не заметил.

* * *

В первый же день, когда они переехали в новый дом, Юлька опустила перпендикуляр с балкона шестнадцатого этажа вниз прямо на оставшийся здесь от других времен и народов куст сирени, потом провела мысленную прямую к школьному подъезду, соединила школьный подъезд с окном и получила ничего себе, симпатичный прямоугольный треугольник. Вот бы съезжать по его гипотенузе! Мгновение – и ты в школе. Но так как пока это было невозможно, приходилось осваивать тот катет, что лежал на земле. Вот почему из школы она шла наперерез Роману и Сашке, пренебрегая проложенным бетонным маршрутом. Она шла насквозь, и сбить с пути ее могла только стихийная преграда в виде стоящего прямо на катете

дома, или котлована, или уже совсем глупо возникших гаражей, пахнущих ржавым железом и бензином. Она шла и думала об уроке литературы. «Будем говорить о любви...» Юлька за свои пятнадцать уже столько прочла о любви, что совсем недавно обнаружила: она с гораздо большим интересом читает фантастику, да и не какую-нибудь, а с сумасшедшинкой. Типа «Заповедника Гоблинов» или «Космического госпиталя», в общем, ту, в которой совсем или почти совсем нет примет нашего, человеческого времени. Отличный роман «Конец вечности» абсолютно испорчен любовью. Нет, Юлька не ханжа и не лицемерка, она лично знает – и не из книг, а из жизни, – что от любви можно помолодеть на десять лет и постареть на двадцать. Что в наше время для любящих столько же преград, как и раньше. Анна Каренина, Наташа Ростова, Лиза Калитина, мадам Бовари, мадам Реналь и Юлькина мама Людмила Сергеевна вполне могут стоять в одном ряду. И то, что мама, слава богу, при том жива и здорова, заслуга не времени, а маминого характера. В ней на троих мужества, стойкости и оптимизма. Ну, посудите сами...

...Людмила Сергеевна выходила замуж за молодого – ей тридцать, ему двадцать. Бабушка Эрна, обрусевшая немка, лежала в предынфарктном состоянии. Заброшенная Юлька вела сказочную для пятилетнего ребенка жизнь – рылась в раскрытых ящиках комода, рядилась в материны побрякушки, подкрашивала брови и губы – никто ни слова, ее не видели. Шоколад валялся во всех углах, громадные запыленные плитищи, раз-два надкусанные. На тиражированные игрушки – собак, кукол, мишек – не смотрелось. Говоря научным языком, в Юлькиной жизни были инфляция и девальвация, но в целом – лучше не бывает, хотя лежащая на высоких подушках бабушка Эрна твердила ей с утра до вечера, какой она несчастный ребенок. Может, с тех пор в Юлькиных глазах навсегда застыло удивление пополам с насмешкой, рожденное от первого столкновения оценочного слова и реальной ситуации.

Период изобилия Юлькиной жизни кончился переездом на новую квартиру вместе с дядей Володей. В памяти цементно застыли красиво поднятые мамины руки и скороговоркой повторяемое: «От всех подальше... Как можно дальше... На край света...»

Край света выглядел соблазнительно. Пятиэтажный дом среди маленьких зеленых двориков. Куры у подъезда, петух с осанкой бабушки Эрны, колонка у дома – пей, залейся, брызгайся прямо из крана, – собаки, кошки, бродящие естественно, без поводков и пригляду. Судя по всему этому, период изобилия Юлькиной жизни сразу перерастал в симпатичное приближение к природе.

Бабушка Эрна именно тогда сразу превратилась в старуху Эрну. Юлька слышала, как говорили женщины на лавочке у подъезда: «Какая величественная старуха». А мама, наоборот, преобразилась в девочку в коротенькой юбочке, дырчатой блузке, и те же женщины удивленно спрашивали: «У вас такая большая дочь?» Юлька была осведомленным человеком. Она знала, что мама ее родила в двадцать пять лет, уже получив высшее образование. Но предметы Юлькиной пятилетней гордости менялись не по дням, а по часам. Теперь мама всем говорила, что да, конечно, дочь у нее большая, но она рано, слишком рано вышла замуж и сразу родила, прямо, можно сказать, в детстве. Потом все хорошо познакомились, и уже никто ни о чем не спрашивал. Старуха Эрна скрепя сердце наносила визиты, мама молодеда и молодеда, дядя Володя отпустил усы и бороду для солидности, и все шло прекрасно... И идет так же до сих пор. Маме сорок один, ей не дают больше двадцати пяти, обалдеть можно от той зарядки, что она делает каждое утро. Юлька ни разу не видела ободранного лака на материных ногтях. Она всегда как на свидании, а это, на взгляд Юльки, труднее, чем в отчаянии бухнуться на рельсы. Ведь мама – работающая женщина, и полы Юлька всего два года как моет... А то все она... мама. Вот что такое любовь... Конечно, их «русичка» говорила это все красиво (актриса бывшая, что ли?), но опять-таки – что может знать о любви старая дева? Хотя, с другой стороны, Юлька знает, эта категория человечества

претерпела существенные изменения в наше время. У мамы есть незамужняя подруга, мама ни за что не оставит дядю Володю с ней в комнате. Юлька чувствует: боится. Боится за дядю Володю, которого эта подруга может совратить. Их Танечка с виду не такая. Но тем хуже... Тем меньше, значит, она знает об изучаемом предмете...

...Катет уперся в каменные ступени. Пришла! В общем, конечно, выигрыш во времени незначительный плюс ободренные на пересеченной местности ноги, все вместе доказывает, что гипотенуза как дорога была бы лучше. Но... Между прочим, один из двух парней, которые встретились, ей почему-то знаком. Она его где-то видела...

Юлька поднялась на шестнадцатый этаж и еще раз обозрела окрестность. Красота! А она, дура, ревела, когда переезжали. Здесь же необыкновенно! По девственно-зеленому ковру двора гуляла абсолютно золотая колли со щенятами. Тяжелая кирпичная кладка школы – ее так хорошо видно отсюда – тоже отлично сочетается с зеленым. А в том, что жилые дома, колеблясь в вышине, все-таки тянутся вверх, а школа устойчиво, на века, распласталась внизу на земле, была даже некая символичность. И если период изобилия Юлькиной жизни был десять лет тому назад заменен периодом близости к природе, то на смену ему пришел образ жизни, который мама восторженно определила: «Как в раю!» – а дядя Володя оценил по-мужски невыразительно: «Жить можно».

Но где же она видела того худого и длинного мальчика?

* * *

А Таня не находила себе места. Она считала, что завалила урок в девятом. Конечно, ничего не стоило завтра же вырулить на наезженную колею, но именно то, что этого так хотелось, останавливало. Нельзя поддаваться панике. Так не бывает, чтобы вчера истина виделась в одном, а завтра в другом. Мама в таких случаях говорила: «Закажи очки. У тебя что-то со зрением».

– Надо исходить из того, – сказала Таня громко, на всю квартиру, – что я единственный предметник, который касается души. Если не я, то кто же?

«Брось! Брось! Брось! – сказала мама. – Только не ты!»

– Лучшие педагоги не имели детей, – парировала Таня. – Это им помогало, а не мешало. Не было своего узкого, личностного опыта, который может путать карты. Нужен взгляд широкий, освобожденный от родительского эгоизма.

«Дура! – сказала мама. – Зачем я тебе оставила двухкомнатную квартиру?»

А тут как раз позвонила Элла. Она просто захлебывалась от счастья. Режиссера в Москву не взяли. Посмотрел «Вестсайдскую» человек, который ставит последнюю печать, и ему не понравилось.

– «Своих пажонов не знаем куда девать!» – так он сказал, – тараторила Элла. Но радость была от другого.

Режиссер был сегодня у нее (восторг!), у Эллы, сказал, что истинная дружба проверяется именно такими случаями. Так что они возвращаются вместе, будут ставить арбузовскую «Таню», совсем не так, как раньше. Она будет Таней. Но какой! Никакой любви! Просто ленивая девка уцепилась за перспективного инженера, а когда жизнь заставит ее самую зарабатывать на хлеб, она поймет, что без мужика на свете прожить можно. Даже лучше...

– Чуть! – сказала Таня. – Где вы такое увидели?

– В пьесе! В пьесе! – кричала Элла. – Все бабы нынче – мужики. И только тогда им на свете хорошо, покойно и уверенно, когда они мужики на сто процентов! Вот! Это будет бомба!

– На чем ты будешь раскачиваться? – спросила Таня.

– Ни на чем! Играть станут цвета. Твоя тетка вначале будет вся розовая, как поросенок. Она будет нести собой розовую женскую беспомощность.

– А потом какого она будет цвета?

– Как вся наша жизнь, лапочка! Стальная! Понимаешь? С металлинкой! Которая в конце засеребрится.

«В чем она была права? – думала потом Таня. – Пьесу они изуродуют, это точно, но какое-то в этом есть зерно... в этом уродовании. Какое? Ах, вот в чем! Чистая, отдаленная от жизни любовь в наше время не выживает? У только любви, как у бабочки-поденки, век короткий. Ей нужны примеси... В виде лесоповала?»

Потом Таня скажет: «Этот идиот режиссер заставил меня следовать задуманному плану. Что мне стоило на следующем же уроке все переиграть?»

* * *

Ни Роман, ни Юлька так и не вспомнили, где они видели друг друга. А встреча была и, оставшись для них бесследной и незапомнившейся, в их семьях, для их родителей стала чем-то вроде взрыва в котельной, который внешних разрушений вроде бы и не принес, но внутренние конструкции слегка покорежил.

Дело было вот в чем...

Мама Юльки когда-то давно, еще в школе, дружила с папой Романа. Но мало ли кто с кем дружил в школе – раздружились. Возник красивый мужчина, летчик, и увел маму Люсю от юного школьного воздыхателя. Тривиальнейшая история, разговора не стоит, если бы... Если бы папа Романа с последовательностью и ритмом биологических часов не возникал у ног Юлькиной мамы с переходящей всякие приличия тоской во взоре. Уже Юлька родилась, уже у него самого сын был, а все равно – придет, сопит и вздыхает. И случилось вот что... Людмила Сергеевна его возненавидела.

– Я сама себе казалась противной оттого, что когда-то с ним целовалась, – делилась она с подругами. – Он первый, с кем я целовалась... И мне так горько, что своими приходами он напрочь испортил все приятные воспоминания. Теперь вспоминается противное. Что руки у него были всегда влажные, что, когда мы целовались, получался свист.

Людмила Сергеевна даже маму свою видеть в эти дни не хотела, потому что та Костю – так звали отца Романа – обожала. Юлиного отца – летчика – она не восприняла, дядю Володю тоже, а Костя – это был ее идеал. Он соответствовал ее каким-то глубоко запрятанным, но живучим представлениям о пресловутой немецкой добропорядочности. Это было совсем смешно, если учесть, что родом Костя из курской деревни. Ничего себе ариец.

А потом раскинутая во все стороны Москва их разъединила. И уже много лет не возникал на пороге тоскующий и преданный Костя со своим занудливым: «Ты только скажи...»

Когда Юлькины родители получили трехкомнатную квартиру в белой башне на зеленой траве, перво-наперво надо было отдать в химчистку шторы, пледы, покрывала, не вносить же в новенькую, с иголки, квартиру старую пыль. Людмила Сергеевна наvertела два тюка и, взяв Юльку в помощницы, отправилась в химчистку. Только они вышли на бетонную дорожку, положив тюки на голову – так женщина выглядит красивее, – как раздался совершенно истошный вопль: «Лю-у-ся! Люсенька!» – и некий мужчина в три прыжка преодолел разделяющий две бетонные дорожки газон. Юлька с тюком на голове продолжала идти гордо и прямо, но боковым зрением она отметила, что на другой дорожке остались стоять очень толстая тетенька, килограммов на сто, и высокий мальчик. Она не знала, что там было за ее спиной, не видела, как рвал с маминой головы тюк этот мужчина, как мама не давала ему это делать... Мама догнала Юльку через пять минут, лицо у нее было красное и злое, и она сказала: «Лучше на край света, чем жить с ним рядом».

Она даже съездила на Банный посмотреть, какие могут быть варианты. И первый раз за всю их жизнь они с Володей из-за этого здорово поскандалили. Юлька даже испугалась, тем более что причину выяснить так и не смогла, но одну фразу дяди Володи запомнила: «Этот дохляк будет у меня лететь с шестнадцатого этажа красиво, как бабочка...» Юлька спросила: «Какой дохляк?» И мама исчерпывающе ответила: «Отстань хоть ты!»

* * *

Поскольку в этой истории две стороны, то важно знать, как на эту встречу прореагировала вторая – вот та самая стокилограммовая тетенька, что осталась брошенной на дорожке.

Вера Георгиевна – мама Романа и жена Кости – ночь не спала. Все видела перед собой ошеломившую ее картину: Костик, две недели до того пролежавший с радикулитом, в три метровых шага перемахивает через газон, а на асфальте, сцепив зубы от презрения, стоит Людмила. Вот это презрение не давало покоя и сна. Чего уж она так? У нее, у Веры, тоже был в школе поклонник. Сейчас он заслуженный артист, снимается в кино. Когда они встречаются, то, не стесняясь, целуются, даже если его жена рядом. И ей это не противно, наоборот, приятно, как он хорошо к ней до сих пор относится. И дело не в том, что ей льстит: он, мол, артист. Он не из тех, чьи открытки продают, он всегда играет крестьян-безлошадников, у него и в жизни лицо голодное, вытянутое и унылое. Но теперь он носит дымчатые очки. В них его безлошадность не так видна. Костик по сравнению с ним – красавец. Это объективно, не потому что муж. А та, Людмила, смотрела на него так, будто через газон к ней прыгал какой-нибудь Квазимодо. «Лю-у-ся! Люсенька!» Орал как. Голос откуда-то не из горла, а из кишков – сдавленный, чужой. Вера с тоской представила, как они замерли на бетонных дорожках – она и Людмила. У Романа глаза стали как блюдца. Папа ведь дома держась за стеночку ходил.

– Ну и прыжок! – сказал он восхищенно. – Как Брумель!

А «Брумель» стоял там, на той полоске, жалкий, небритый, и Людмила так брезгливо его обошла, с этим узлом на голове, будто боялась задеть. Уходя, кивнула ей, тоже свысока, и такое обилие презрения, пренебрежения, которое обрушилось на Веру в один миг, вдруг оказалось ей не под силу. Она, двужилная женщина, на плечах которой было все – и нездоровый муж, и хлипкий сын, и ремонт в квартире (пять лет уже прожили), и стеллажи на заказ, и все, все, все... И тут она вдруг осела, обмякла от одной этой минутной встречи. Что она, про Людмилу не знала раньше? Знала. Все ее фотографии в альбоме сохранены, со всеми надписями «любимому», «моему хорошему» и так далее. Знала, все знала, что было. Не знала, предположить не могла, что у Кости все и есть. И вот теперь они соседи? Всего три газона Костику перепрыгнуть. Разве трудно умеючи?

И Вера тоже пошла на Банный, на «квартирную барахолку», выяснить возможности обмена. Выяснила: туда надо ходить месяцами, а еще лучше годами. Может, что и выходишь...

А потом все как-то в бессонницу пересмотрелось. Школа для Ромки рядом, на работу добираться удобно, а тут еще прямо между домом их и Людмилы достраивают громадный универсам, он разделит их дома как пропасть. А тут еще Костика с радикулитом положили на обследование в ЦИТО. Шло время, и ни разу больше Людмила на пути не встречалась.

Правда, цепко держалось в памяти, как она тогда прошла, но время услужливо подсунуло другое объяснение: значит, он ей не нужен. Так это же хорошо! Раз прыгнул и увидел: не нужен. Разве она, Людмила, будет с ним, хворым, так возиться? Вера знала, сколько времени требует и Людмила прическа, и такие ногти, и сколько стоит такой вид в целом, переводы хоть на деньги, хоть на время. Многого стоит. Ей, Вере, не по карману. Поэтому

найти любителя поменяться с ней местами будет трудно. Один раз прыгнул... и съел... Отлеживается в ЦИТО.

Вера не подозревала, что Костя звонил Людмиле по телефону. Сложным путем выяснил он домашний номер, так как не знал, какую она сейчас носит фамилию. У Эрны спрашивать не стал, позвонил Людмиле на работу и там у кадровиков не своим голосом осведомился. Людмила ответила предельно сухо, а он сразу жалко представился: «Я из больницы». Но в другой раз трубку взял мужчина и лениво так спросил: «Слушайте, какого черта?» Костя медленно надавил на рычаг и медленно пошел, пытаясь самому себе убедительно ответить на этот предельно простой вопрос: действительно, какого? Скоро двадцать лет минет, как они прятались в подъездах. Чего только не было после: и этот сумасшедший летчик, который привозил ей коробки конфет из всех городов Советского Союза. И их скоропалительная свадьба. И какая она была тощая и измученная, когда ждала мужа из полетов. И как она его выгнала, имея пятимесячную дочь, когда узнала о многочисленных перелетных романах. И у него, у Кости, тогда был пятимесячный сын, но он побежал к ней, потому что вдруг отчаянно на что-то понадеялся. Целую неделю он надеялся, одновременно аккуратно выполняя все отцовские и мужские обязанности: ходил в молочную кухню, искал Вере необходимый для кормления лифчик с пуговицами впереди, носил в мастерскую обувь и покупал детский манеж. Он потому так это хорошо запомнил, что жил какой-то нелепой, противоестественной надеждой на то, что Людмила его примет, что он ей будет все-таки нужен. А тут еще эта проклятая Эрна с ее подбадривающими пожатиями и подмигиваниями: мол, все о'кэй – или как там у них по-немецки? А все было прескверно. Однажды Людмила закричала противным визгливым голосом, что он ей надоел до смерти, что она его видеть не может, запаха его не выносит и так далее... А потом этот прыжок через газон, и сжатые губы Людмилы, и его голос, откуда-то из желудка: «Лю-у-ся! Люсенька!» И тут вдруг – идя, вернее, даже пятась от телефона – он понял, что на вопрос «какого черта?» ответа нет. Потому что «люблю» никакой не ответ, если тебя не просто не любят, а терпеть не могут. Приставать в таком случае действительно нехорошо, если есть или совесть, или гордость. Косте стало стыдно, мучительно закололо, заныло во всех суставах, захотелось жалости и внимания. И сразу вспомнилась Вера, как шерстяным платком она перевязывает ему поясницу, как гладит по платку утюгом. Костя даже застонал от переполнившего его чувства раскаяния и решил больше никогда не звонить Людмиле.

* * *

Универсам открывали с оркестром как раз в сентябре и сорвали уроки в школе.

Девятый «А» ринулся к окну, оставив без внимания призыв учительницы закрыть его.

Юлька и Роман оказались прижатыми к подоконнику плечом к плечу.

– Слушай, – сказал Роман, – я мог тебя раньше где-то видеть? У меня такое ощущение!

– Ты в Останкине не жил?

– Даже не знаю, где это!

– Тогда тебе кажется...

В том, что ей это же казалось, она из женского кокетства решила не признаваться. Еще чего!

Музыка громко звучала, высокое начальство обходило сверкающий никелем образцовый универсам, а в универсаме – показательный, манящий и увлекающий, на горе родителям, отдел детских игрушек.

Таня вошла в класс и в первую минуту его не узнала. Лица, что раньше смутно виднелись будто сквозь пелену покрытия, выпростались и обнаружили себя, какие есть. Надо же! Музыка заиграла! Неожиданная музыка! В неположенный час! Музыка – что как снег

на голову. И они сбросили с себя зажатость, запрограммированность на историю или на что там еще и смотрели на Таню обнаженно и доверчиво.

– Радости-то сколько! – сказала она, но ирония получилась какая-то подбитая: потому что надо быть клиническим идиотом, надо быть законченным шкрабом, чтобы не уметь радоваться радости.

«Запомнить бы мне эти их лица», – подумала Таня. И она стала их жадно оглядывать и окунулась в такой поток доверия и сияния, что подумала: сейчас разревусь. И тут встрети-лась с большими и беспомощными, как у постоянно носящих очки людей, глазами и сооб-разила: это та, новенькая. Ах, вот это кто! Девочка с фотографии! Она обратила на нее вни-мание на снимке. Первого сентября чей-то папа их фотографировал и через неделю гордо принес снимки. Что бросилось в глаза? Таня среди учеников как Гулливер среди велика-нов. «Ну и ну», – подумала. В ней ведь тоже не полтора метра, а честных метр пятьдесят девять плюс каблучки. И все-таки с виду роста нет. Только одна девочка такая же. Но кто это, сообразить было трудно. Папа мастером фотографии не был, Таня решила, что эта девочка чужая, из другого класса, а к ее ребятам прибилась по принципу каких-то личных связей. А сейчас, после музыки, поняла – сидит эта маленькая. Только она носит очки. Вот они-то и сбили Таню с толку. Посмотрела по списку – Юля. Подумала: так это дочка самых эффек-тных родителей? Людмилу Сергеевну и ее мужа Таня заметила первого сентября. Они стояли вместе со всеми возле школьного забора, а распорядитель-физкультурник делал в их районе выразительные пробежки – верный признак, что где-то недалеко имелась в наличии краси-вая женщина. Таня посмотрела: верно, имелась.

В Юльке ни грамма броской материной элегантности и стати. И она не потрясает акселерацией, как остальные девчонки. Обыкновенная девочка на все времена. Только вот волосы прижаты сиюмодным ободком – уменьшенной копией лошадиной дуги. Зря она его надела, ободок. Волосы у нее мягкие, негустые, ободок на них лежит грузно, а тут еще тяже-лые, тоже сверхмодные очки – с «облучком» посередине, даже не заметишь живую девочку за такой амуницией. Но теперь Юлька сняла очки и смотрела так, что Тане захотелось ее от чего-то защищать, маленькую. Она ей улыбнулась, а тут вылез Роман.

– Татьяна Николаевна! – начал он. – Я что-то слегка заучился. В какой части света Останкино?

– Балда! – закричали Роману. – Это не у нас! Это на Млечном Пути.

– Невероятно! – печально сказал Роман. – Уже появились пришельцы.

Таня не знала, какая игра продолжается, заметила только: Юлька надела свои очки с «облучком» и... стала другой.

– Все! – сказала Таня. – Конец музыке.

* * *

На первом в году общешкольном собрании вопрос дисциплины стоял, так сказать, в профилактических целях. На тех собраниях, которые потом, после общего, должны были проходить по классам, тему определял сам классный руководитель. И Таня решила: это будет разговор о здоровье. Что бы там ни говорила их врач-оптимист, надо на здоровье обратить внимание. Последние трудные классы плюс неуправляемая акселерация, плюс вся наша жизнь с ее стрессами, гиподинамией и шумами – все это надо знать. Ее бывший друг, док-тор Михаил Славин, писал работу о признаках ранней ишемии. Он ей рассказывал много жутких историй, а она все их записывала. Записывала тогда и думала: классический отход от заветов мамы. Я записываю его мысли, вместо того чтобы оставить его ночевать. А сейчас мысли пригодились. Она листала тетрадку, там его рукой были нарисованы самые прими-

тивные («Для таких темных, как ты», – говорил он) чертежики и диаграммы. Она перерисовывала их, ощущая тоскливую пустоту. Как раз состояние для рисования схем.

Родителей на собрание пришло мало. Несколько новых мам озирали Таню внимательно и придирчиво. Родителей Юльки не было. Из «старых» первой пришла мама Романа. В который раз Таня обратила внимание, как она тяжела для своих лет. Она больше всех взволновалась разговором о здоровье. Все ушли, а она, обмахиваясь тетрадкой, все выпрашивала.

– А у Ромасика очень большие синяки под глазами?.. А не производит он впечатление чем-то больного?..

Таня не судила ее за глупый страх, она понимала его, профессионально обязана была понимать в родителях. И все-таки Вера, как всегда, показалась ей клушей с одной-единственной функцией – вырастить дитя. Не укладывалось в голове, что она инженер, что у нее есть, должны быть, какие-то профессиональные знания, что она вообще может о чем-то думать, кроме сына. Таня нарочно спросила ее о работе, та долго сосредоточивалась, морщила лоб, потом засмеялась и сказала:

– Вы сбили меня с толку. Когда я думаю о муже и сыне, я дурею. Это видно? Видно, видно... Я знаю... Так что о работе? Работаю. Служу. Все у меня хорошо в этом смысле. Почему вы спрашиваете?

Она даже слегка рассердилась на Таню за это нефункциональное любопытство. В конце концов, действительно, какое кому дело до ее служебных качеств? Тем более учительнице, для которой главное, чтобы она была хорошей матерью и хоть каким инженером...

Вера срисовала у Тани из книги упражнения для ликвидации сутулости. Роман, правда, сутулым не был. Но мамы сутулых поспешно убежали – знаем! знаем! – а эта сидела и рисовала. И лицо у нее было девчоночье, юное, одухотворенное, хоть и возникало из тяжелого двухъярусного подбородка.

* * *

Октябрь был как никогда.

– Я сто лет не видела таким Ботанический! – восхищалась учительница биологии, особа экспансивно-романтическая. – Что-то особенное. Иллюзия чего-то неземного! Хочется упасть в эту красоту и умереть! Умоляю! Поведите срочно детей!

Все захохотали, а она не могла понять почему.

– Чего вы? Чего вы? – спрашивала она.

– Обнаружили в тебе склонность к массовому убийству. Всей школой упасть и умереть!

– Я же не в том смысле! – стала оправдываться смущенная учительница.

– В том! В том! – смеялась Таня.

– ...Ой! – закричала Юлька и сняла «облучок». – Это же в Останкине. Там действительно здорово!

– А! – сказал Роман. – Экспедиция на Млечный Путь. Татьяна Николаевна, а какие гарантии возвращения?

– Без гарантий, – ответила Таня. – Операция, полная риска. Можем умереть от красоты.

Умереть от красоты захотели почти все и отправились на другой конец Москвы на следующий же день. Ходили по саду почтительно, артистично всплескивали руками, закатывали глаза, и вдруг Сашка с диким воплем кинулся к фонарному столбу.

– Братцы, – закричал он, – железный! Как это прекрасно!

Все тут же подхватили игру, картинно встали на колени вокруг столба, а Сашка произнес торжественный спич в честь Прометея, Яблочкова, чугунолитейного производства и призвал всех собирать металлолом.

Таня сказала: «Ах так... И не надо... Гуляйте!» И они просто гуляли, а потом, когда шли назад, Юлька и Роман отстали. Почему-то тогда Таня подумала: они подходят друг другу, как две половины одной разрезанной картинки. Но она не в первый раз так думала, видя возникающие на ее глазах юные пары, поэтому как подумала, так и забыла. А вспомнила о первом своем впечатлении уже потом, потом...

* * *

– Сколько в тебе кровей? – спросила Юлька.
– Одна единая неделимая русская, – торжественно ответил Роман.
– Ты вряд ли будешь гениальным, – серьезно сказала Юлька. – У меня гораздо больше шансов. У меня тоже преимущественно русская, но слегка разбавленная.
– Водой или сиропом? – спросил Роман.
– Сам дурак, – серьезно продолжала Юлька. – Бабушка у меня из немцев...
– Фи! – не поддавался Роман. – Тоже мне кровь...
– Мой отец – метис...
– Вот это уже мне нравится! – обрадовался Роман. – Метис – это звучит гордо.
– Не в том смысле, – сказала Юлька. – Он наполовину украинец, наполовину поляк.

Понял?

– Тогда он мулат, – засокрушался Роман. – Это уже не так гордо. Не быть тебе гениальной. – И заинтересованно спросил: – А негров в вашем роду не было?
– Монголы были, – приняла наконец игру Юлька. – Те, что из ига...
– Слава богу, – обрадовался Роман. – Хоть что-то... Можно, я буду звать тебя просто:

Монголка?

Потом удивлялись, почему он кричал в классе: «Монголка!»

– Что в ней монгольского? – спрашивали ребята.

– Душа, – отвечал загадочно Роман. – Она ведь из ига. Сама сказала.

Судьба подарила им несколько абсолютно безоблачных месяцев. Это навсегда останется тайной, как их дотошные родители именно в этом случае долгое время были слепы и глухи и остались не в курсе. Дело в том, что Людмила Сергеевна ждала ребенка («Спохватилась после сорока! Но надо! Надо!»), а Вера возилась с Костей, у которого обострились все хворобы, и его попеременно перекладывали из больницы в больницу. («Знала, есть какая-то Юля. Фамилия мне ничего не сказала, а Ромасик никогда поздно не задерживался. Ведь на это смотришь в первую очередь».)

Они назначали свидания в детском отделе универсама, у бассейна, где вместе с зелеными шарами мячей плавали зеленые крокодилы, киты, черепахи. Они садились на кафельные берега бассейна и пропадали. Люди становились природой, и совершенно не имело значения их человеческое количество. А может, чем больше – было даже лучше. Роман и Юлька только меняли место на своем «берегу» в зависимости от того, что в универсаме выбрасывали и как выстраивалась очередь. Они сидели с авоськами для хлеба, молока, как с неводами; люди же шуршали, бушевали, как деревья, как море, как ветер. А вот крокодилы были живые и настоящие, и звали их Сеня и Веня.

– ...А когда ты на меня обратил внимание?

– Когда мы молились фонарному столбу. Все на коленях в шутку, а ты по-настоящему...

– Вот дурачок... Я тоже в шутку.

– Я понимаю. Но вид у тебя был как по-настоящему... И пятки у тебя, такие маленькие-маленькие, торчали вверх.

– Пятки? – Юлька смущенно закрывает глаза ладонью. – Как тебе не стыдно... Они, наверное, были грязные... Мы же по пыли шастали.

– Были, – отвечает Роман. – Мне даже хотелось посплюнуть палец и потереть их.
– Ну а потом?

– А потом ты с умным видом болтала глупости о своих кровях. Как я понимаю, намекала мне на скрытую в тебе гениальность. Я тогда представил, как это все в тебе происходит. Бежит в тебе алая-алая – это русская кровь, а в ней фонтанчиками бьют синяя немецкая, светло-зеленая польская, оранжевая монгольская...

– Господи! Да нет во мне монгольской! Ты это сам выдумал...

– Не перебивай старших... От этого многоцветья ты изнутри вся светишься. Ты знаешь, что ты светишься?

– Как это?

– Как салют. Правда, крокодилы?

Юлька крутит им головы: мол, неправда.

– Когда мы поженимся, мы заберем их, – говорит Роман.

– А когда это будет? – спрашивает Юлька.

– Очень скоро. Девятый, считай, мы уже кончили. Так? Значит, десятый. Это ерунда. Сразу после экзаменов.

– Но ведь нам не будет еще восемнадцати.

– Тогда мы уедем в Узбекистан, там можно раньше...

– А что мы будем делать с Сеней и Веней?

– Они будут жить в ванной, ждать наших детей...

– Ой!

– Чего ты?

– У мамы стали выпадать зубы. Она говорит, что я у нее забрала два зуба, а вот этот неизвестный товарищ уже четыре. Она страшно переживает. Зубов нет, пятна... Старая стала... Мне ее жалко...

– Тебе ничего не повредит...

– В каком смысле?

– Я представил тебя без зубов и с пятнами: очень хорошенькая старушка.

* * *

Вера выступала на родительском собрании в начале третьей четверти и рассказывала, как в их НИИ сын одного сотрудника – такой приличный мальчик – попал в дурную компанию и совсем отбилась от рук. Она была очень этим взволнована и призывала мам и пап к бдительности.

– Был хороший, интеллигентный ребенок, – говорила она, – играл на скрипке, родители – культурнейшие люди... Отец – три языка... Дома никаких выпивок... Туризм... До седьмого класса мальчик без троек... И появляется один... Паршивая овца. И все насмарку... Мальчик перестал стричься... Потом эти битлы. Потом приводы...

Татьяна Николаевна слушала эту извечную наивную цепь рассуждений, искала слова, которыми должна будет и успокоить, и объяснить, какое и где утрачивается звено между паймальчиком со скрипкой и «паршивой овцой», и вдруг увидела, как замолчала Вера. Именно увидела, потому что еще звучали какие-то слова, еще шевелились Верины губы, а внутри она замолкла, застыла, закаменела... Это бочком, извиняясь за опоздание, входила в класс Людмила Сергеевна. Пополневшая, похорошевшая после недавних родов, она усаживалась на краешек парты, чтоб не измять роскошную трикотажную тройку – юбку, жилет и блузку, – тихо, деликатно щелкнула сумкой, достала платок, и в класс, всегда пахнувший только классом, впорхнул запах духов, непростых и чужеземных. «Что с ней? – подумала Таня о Вере. –

А с ней?» – это уже о Людмиле Сергеевне, чьи тонко выщипанные брови удивленно поползли вверх при виде Веры.

После собрания Людмила Сергеевна сопровождала Таню до учительской.

– Извините, что я опоздала, – говорила она. – Я теперь себе не принадлежу, принадлежу расписанию кормлений. А что, Роман Лавочкин учится в вашем классе?

– Да, – ответила Таня. – А что?

– Странно, – задумчиво сказала Людмила Сергеевна, – странно... Когда-то я знала его отца... И что, хороший мальчик?

– А вам Юля никогда не говорила? – удивилась Таня. – Они ведь дружат...

– Дружат? – На лице Людмилы Сергеевны застыло такое глупое выражение, что оно, несмотря на ухоженность европейскими средствами, стало просто намалеванно-бабьим.

– Они наши Ромео и Джульетта, – ляпнула Таня.

«И если в своей жизни я когда-нибудь говорила пошлости и глупости, и если я совершала когда-то безнравственные поступки, и если я бывала бестактной, так все это чепуха по сравнению с этой моей пошлой, безнравственной и бестактной фразой, – так скажет потом Таня. – Я ляпнула – как будто сыграла свадебный марш на похоронах, я проболталась, как последняя сплетница со скамейки у подъезда, которая всегда в курсе, кто с кем, кто когда, кто зачем». Но тогда, сразу, она услышала только кислый такой голос Людмилы Сергеевны.

– Это некстати, – тихо сказала она. – На носу десятый... Лавочкиных нам еще не хватало.

– Роман – славный мальчик, – успокаивала ее Таня. – Совершенно порядочный, совершенно чистый...

– О господи! – возмутилась Людмила Сергеевна. – Конечно, чистый! Конечно, порядочный! Кто об этом? – И недобро добавила: – Я знаю эту семью: добропорядочность у них фамильная.

Тогда еще Таня не знала предыстории и такую недобрость отнесла за счет характера этой выхоленной дамы.

* * *

Лавочкины ужинали рано, потому что рано ложился спать Костя. Вера нервно бросала на стол свертки из холодильника, никак не соображая, что ей конкретно сейчас нужно. Когда напрочь все выбросила, поняла – делает не то: гречневая каша у нее сварена и стоит на балконе, а ей надо было зайти после собрания за молоком, но об этом она как раз и забыла. Костя лежал в комнате, читал детектив. Бегая с балкона в кухню, вскрывая тушенку (пусть каша будет с мясом, а не с молоком), Вера растерянно думала о том, что она до сих пор безумно ревнует Костю к этой женщине. Вот время прошло, а как сейчас видит она его прыжок через газон: «Лю-у-ся!»

Когда они женились, он ей честно сказал: «Эта любовь была для меня всем». Но Вера думала: у каждого что-то было. И у нее тоже был парень в институте, собирались жениться, а как-то вернулись с каникул, посмотрели друг на друга – и привет. Стало ясно, что можно было вообще никогда не встречаться. Раньше Вера свято верила, что все любви, которые не кончаются физической близостью, – дым, химера. То есть, конечно, есть близость без любви, но это разврат, блуд, неприличие. Но если будто бы любишь, но спокойно без этого обходишься – тоже ерунда.

У них с Костей все получилось сразу, и она поняла: Костя – единственный для нее мужчина на земле. И оставалась счастлива даже после его слов: «Та любовь была для меня всем». Пройдет. Потому что там ничего не было. А потом он прыгнул через газон и этим прыжком враз порушил такую стройную, такую устойчивую концепцию. Вера тогда испу-

галась на всю жизнь, на всю жизнь она возненавидела Людмилу Сергеевну, на всю жизнь поселился в ней страх, что Костя может уйти, если его позовут. Просто невероятно, как он от себя не зависит, и стоит только захотеть той женщине...

А теперь они могут видаться. Конечно, Костя на собрания не ходит, это уже утешение, но будет десятый класс, выпускной вечер, и эта явится в каком-нибудь необыкновенном наряде, и Костя, он такой слабый после болезни, может растеряться. «Лю-у-ся! Люсенька!»

Пришел Роман с длинной, как невод, авоськой. В ней болтался плавленный сырок за пятнадцать копеек. Этих сырков – полхолодильника. Хобби какое-то у сына – покупать сырки.

– Ну что собрание? – спросил он весело. – Кого клеймили? Про меня что-нибудь говорили? Нет? Прекрасно! А про Юльку? У нее пара по физике, случайная, по глупости, но дурочка так страдает – во#первых, из-за пары как таковой, во#вторых, боится, что из-за этого у Людмилы Сергеевны пропадет молоко... У Юльки теперь есть брат... Юлька из-за него не высыпается... – Роман болтал, выковыривая из тушенки кусочки желе, одновременно он грыз длинный огурец и отщипывал корочки хлеба – в общем, вел себя, как всегда, когда он голоден и когда у него хорошее настроение.

– Юлька – дочь Людмилы Сергеевны? – спросила Вера. А сердце забилося. Она родила? В таком возрасте? Костя ей не нужен? Ах как хорошо! Хорошо! А у Романа все пройдет, пройдет. Это детство.

– Ма, что с тобой? Ты чего шевелишь губами? – Роману весело, сжевал всю корку круглого черного, догрызает полуметровый огурец...

– Что, лучше Юльки в классе девочек нет? – спросила Вера.

Роман закашлялся так, что у него слезы выступили, и Вера возненавидела в этот момент Юльку так же, как Людмилу Сергеевну.

– Что с тобой, мама? – спросил сын, откашливаясь. – Какая тебя муха укусила? Юлька – самая лучшая девочка на земле.

– Я знать этого не хочу! – закричала Вера. – Десятый класс на носу. Вот о чем надо думать!

– Ты тривиальна, мама, как шлагбаум.

– Почему шлагбаум? – растерялась Вера.

– Ну табуретка... Сама подскажи мне пример тривиальности...

«Надо пойти и посмотреть в словаре, что такое «тривиальный», – подумала Вера. – Я забыла значение этого слова. А может, не знала?..»

А Людмила Сергеевна по дороге домой успокоилась и не сочла нужным ни о чем разговаривать с Юлькой. Потом она скажет: «Я вдруг уверовала, что у Юльки, моей дочери, должен быть иммунитет против Лавочкиных».

Людмила Сергеевна ведь тоже когда-то что-то там испытывала к Косте. Скорее всего, благодарность за первую в жизни мужскую преданность, за то, что некто однажды увидел в ней не просто одноклассницу – девушку... Вот и у Юльки тоже. Пройдет. А летом ее надо будет отправить в Мелитополь. Родня обеспеченная, машина, моторка, повозят, покажут... Лето вылечит...

* * *

Эту историю в тот момент больше всего переживала Таня, потому что Юлька «съехала» по учебе. По математике у нее редкие тройки перемежались более частыми, похожими на вставших на хвост змей двойками.

Таня говорила с ней. Юлька крутила двумя пальцами дужку очков и обещала: «Исправлю, Татьяна Николаевна, ей-богу, исправлю».

Как-то к Тане подошла их школьный врач, властно оттянула ей веко и сказала: «Слушай, Татьяна, у тебя ни к черту гемоглобин. Приди завтра в поликлинику, я возьму у тебя кровь».

Сейчас Таня лежала дома и вспоминала все это. Гемоглобин у нее оказался на самом деле низким. «Для того чтобы умереть, много, а чтобы жить, мало, – сказала врач. – Ешь печенку и расслабься. Пусть мир на всех скоростях катится к чертовой матери, ты нынче едешь только на лошадях. Это уж если совсем нельзя пешком».

Как-то ночью пришла страшная мысль: ей нельзя болеть потому, что ей некому подать стакан воды. Тут же села в ноги мама и завела старую песню.

«...Даже у меня такого не было! У меня была ты...»

– У тебя, Таня, завышенные мерки к жизни, – говорил Миша Славин. – Измени угол в своем циркуле, и все сразу пристроится. Мне неудобно, когда ты хочешь, чтобы я был Чеховым. Да и ты, пардон, тоже ведь не Ольга Леонардовна? А?

– Чего ты из меня делаешь дуру? Никогда я на тебя не смотрела, как на Чехова, – отвечала Таня.

– Ты этого не замечаешь. А я иду к тебе после работы усталый, измученный, мне хочется забыться и заснуть в объятиях любимой, а мне приходится думать: все ли у меня прекрасно? Ничего у меня прекрасного нет после работы! Штаны мятые, рубашка несвежая, на душе погано, а мыслей нет вообще... Собаки съели. Ты меня пожалей, приголубь... Именно такого. Несмотря на штаны, на отсутствие мыслей, на то, что я пришел к тебе с приветом...

– Ты другой уже не бываешь. Вот что страшно... В воскресенье утром у тебя то же самое.

– Правильно, любовь моя. Такова реальность. Работа проедает насквозь. Но я без нее не могу. Как врач, я раз во сто выше Чехова... Но в остальном – избавь меня от этого сравнения. Избавь меня от веры в красоту человечества. Оно болезненное. Констатирую как доктор. И я его лекарю. От всей души, как говорят...

«Наверное, это был способ от меня уйти, – думала Таня, – навязать, приторочить мне мысли, которых я никогда не имела. Не сравнивала я его с Чеховым. Не приходила в ужас от его мятых штанов. Но он привязывался, привязывался с этим циркулем, который будто бы у меня закреплен не на том угле, и я однажды поняла: он хочет, чтобы я с этим согласилась. Тогда ведь сразу станет все ясным. Ну, я и согласилась... Он ушел обиженный и освобожденный».

В холодильнике стыла закупленная впрок печенка, морковка стала морщенной и мягкой, гемостимулин был не распечатан, и только Таня решила все это или съесть, или выбросить, как в дверь позвонили долго и нахально. Она открыла и увидела весь свой девятый с цветами (дорогие же ранней весной!) и свертками.

– Вот еще глупость какая! – сказал Сашка. – Болеть вздумали.

– А где Роман и Юля? – спросила Таня.

– А где они? – удивились ребята. – Шли ведь вместе.

– Но это вас не должно расстраивать, Татьяна Николаевна, – сказал Сашка. – С ними случаются такие странности. Временами они исчезают. Вообще. В пространстве.

– Очень смешно, – ответила Алена. – Просто цирк.

– Мы принесли клюкву, – хлопнул себя по лбу Сашка. – Это то или не то?

А Роман с Юлькой так и не появились. Таня, слушая ребят, отметила: Алена столбом стоит возле окна, большая такая, свет закрыла, стоит и двигает туда-сюда два чахлах цветочных горшочка. «Разобьет», – подумала Таня. И та разбила. Испугалась, стала собирать осколки, землю и в деле успокоилась, больше к окну не подошла, а села рядом, прижалась к Тане плечом и горячо зашептала: «Хотите, я вам буду готовить? Я умею. У меня рыба

хорошо получается, и с майонезом, и с томатом, и со сметаной. А еще я умею делать бигос. Берешь восемьсот граммов свинины...»

Когда ребята ушли, Таня почувствовала, что выздоровела. Количество гемоглобина не имело никакого отношения к этому. Просто пришло ощущение: всё. Надо вставать. И она встала, посмотрела, как у нее с колготками, можно ли их подштопать или надо уже выбросить, вымыла голову польским шампунем и накрутила волосы на крупные бигуди. Привычные мелочи возвращали ей силы, и она уже окончательно решила – бюллетень надо закрывать.

* * *

После девятого класса мальчики продолжили занятия в военно-спортивных лагерях. Таня пришла за отпускными, а они собирались во дворе. Все в зеленых топорщащихся костюмах, все подстриженные на основании приказа, все, как один, длинношеие, ушастые. Мальчишки как-то безрадостно поострились по поводу ее отпускной экипировки: мол, давно бы так одеваться молодой женщине, а то учителя и сами не живут, и другим не дают, вот вам доказательство – и они опускали перед Таней бритые выи. «Хорошо, да? Красиво, да? А сами небось в юбке-макси». Пошутили, поболтали, так бы она и ушла, если б кто-то не крикнул:

– Ромка! А тебя пришли на войну провожать!

И тут все увидели Юльку. Вид ее вполне соответствовал реплике. Она была черная, осунувшаяся, казалось, что ей холодно, хотя на улице было не менее двадцати пяти. Роман испуганно отвел ее к забору, подальше от глаз.

Приход Юльки взбудрил отъезжающих, и они заболтали:

– Что, граждане, сыграем свадьбку?

– Ой, сыграем! Вот тут прямо, во дворе, столы поставим...

– Каре...

– Что?

– Каре...

– Ты что, ворона?

– Каре... Стол – каре.

– Ребята, он чего?

– Ерунда! Предлагаю «Арагви» или «Пекин».

– А money? Кто будет платить?

– Не мы же! Родители! Сбросятся, скинутся, полезут в черную кассу, наскребут... Такая любовь, мальчики, требует расходов.

– Патентную теорию... Внимание! Патентную теорию... Большая любовь – большие расходы. Средняя – средние, маленькая – маленькие... Здорово? Родители в целях экономии женят нас на обезьянах... Рубрики в газете «С лица воду не пить...». Дискуссия – с лица или не с лица?.. Пить или не пить?..

– В «Неделе» был рассказ, кажется, Моэма, так там черным по белому доказывается – без любви очень даже лучше... Ничего хорошего все равно не ждешь, а значит, и не разочаровываешься... Отсутствие разочарований – залог успеха.

– Как бы это объяснить Роману?

– Поздно, братцы... Он спекся...

– Жалко товарища... Ушел от нас в расцвете.

Они галдели, а сами поглядывали на Романа и Юльку не без зависти, пока физкультурник звонко и молодо не крикнул: «Становись!» (Звонко и молодо – это в честь Таниной юбки-макси, реакция у него в этих случаях автоматическая.) И тут Таня увидела, как Юлька

бросилась Роману на грудь, как обхватила его за шею, как беспомощно тычется ему в зеленую робу. Таня почувствовала – сейчас заревет, и заревела бы, не увидь, что прямо на них мчится по двору Вера. Таня с Сашкой сработали одновременно, уже через секунду конвоируя Веру с двух сторон. Она удивленно посмотрела на Таню, в глазах на мгновение полыхнуло: «Что за вид!», но она тут же стала озираться, искать сына. Ах, Сашка! Умница Сашка! Он показал всем мальчишкам кулак, а сам стал кричать в сторону школы, хотя Роман и Юлька были в противоположном месте.

– Ромка! К тебе мама пришла! Ромка!

Вера замороженно смотрела на дверь школы, ждала: вот сейчас распахнется и выйдет Ромасик... Но дверь не распахивалась. Все с интересом ждали, как появится Роман с другой стороны и что он скажет.

– Ромка! Тебя зовут! – тихо шептала Юлька. – Точно! Тебя зовут...

– Значит, не забудь: я возвращаюсь через три недели. Во вторник, в пять вечера, как обычно...

– Ромка! Зовут...

– Да ну их... Запомни... Во вторник... В пять вечера...

– Ром! Я не могу... Просто даже не подозревала, что не смогу. Три недели... С ума сойти... Ты иди, иди... Что они кричат? Мама пришла? Чья мама?

– Наверное, моя... Юлька! Ты только меня не забывай. Слышишь, Юлька, во вторник...

Он шел от Юльки, как во сне... Он подошел к Вере и остановился возле нее, и она, увидев его, сразу поняла, откуда он пришел. Она завертелась, даже привстала на цыпочки...

– Стройте их скорей! – сказала Таня физкультурнику.

– Леди! – ответил он проникновенно. – Я из-за них тяну эту резину. Развели страсти-мордасти... Забираем в рекруты... И маман, и девица... Фи! Что за воспитание! – И хорошо поставленным голосом он крикнул: – Последний раз говорю: становись! Провожающих прошу удалиться за забор.

Таня взяла Веру под руку, и они пошли. Она вела ее и чувствовала, что за их спинами прижимается к бетонной ограде Юлька, бедная, почерневшая девочка, которую не надо сейчас видеть никому, а Вере особенно.

Вера четко печатала шаг. Она тоже знала, что Таня уводит ее от Юльки, она уводилась покорно и с достоинством, а Таня не подозревала тогда, что тяжелая Верина голова уже произвела на свет план, что Вера выждет, когда уедут мальчишки, и вернется в школу, чтобы забрать документы Романа. Если все решено – зачем тянуть? Если веришь в идею – ее надо осуществлять. Она толково, убедительно объяснила тогда все директорисе. И напугала ту вконец. Роман не доехал еще до Ярославского вокзала, Юлька не добрела еще домой, а личное дело Романа Лавочкина уже лежало в сумке, прижавшись к капусте и яичкам, а Вера четко печатала шаги, из одной школы в другую, из другой в третью... Выбирала.

Уже ночью, в поезде «Ривьера», Таня опять вспомнила Юльку и Романа и почему-то разгневалась. Потом она скажет: «Гнев был несправедный». Еще бы! Какая там праведность! Думалось: «Что за непристойность – на глазах у всех бросаться на шею? И где? На школьном дворе! Ведь я там была! И учитель физкультуры! И ребята. А им все равно? Ну, знаете... Такого еще не было. Вера как почуяла... Она молодец, она вся настроена на волну сына, она тоже все чувствует». И Таня, вспомнив Веру, стала успокаиваться. Эта мама на страже. «Стража» – хорошее, оказывается, слово. Добротное, древнее, мудрое. На него можно рассчитывать. От Веры и стражи мысли перекинулись на Людмилу Сергеевну – вот вам две мамы, два отношения к детям. Да что там говорить: именно у этой выхолненной женщины могла вырасти девочка без понятия о какой-то нравственной сдержанности, девичьей скромности...

Мысли, слабо вздрагивая на стыках, катились, катились в поезде «Ривьера», пока Таня вдруг не подумала: «Я что? Маразмирую?» Она вышла среди ночи в коридор, удивляясь, как опустилась до того, что сама с собой сплетничает, копается в этой любви, будто коза в капусте. Что она о них знает, что? И вообще это не ее дело, не ее компетенция. Ее никто не провожал в отпуск, и едет она одна, и никто ее не ждет, и все это немаловажно, но если она позволит разыгрываться в себе личной неустроенности – грош ей цена. Нет ничего противней перенесенного в школу мира старой девы. Татьяна Николаевна безжалостно секла себя и давала клятву: как только почувствую, что брюзжу, так уйду... Куда угодно, кем угодно...

– Закурите?

Ей протягивали пачку сигарет. И она взяла, хоть никогда не курила. Она ухватила за сигаретку, как за поручень: только бы выйти, выйти из этого состояния гнева на саму себя и на других людей. И вышла... И посмотрела на человека, который стоял рядом. Ничего человек, высокий, сильный, подтянутый, такое впечатление, что он или не ложился, или только что сел, а она в халате, распустила, нехорошо как-то...

– Не могу спать в поезде, – сказал он. – Поэтому предпочитаю летать. А тут так нескладно получилось, пришлось поездом.

– Что, так всю ночь и простоишь? – спросила Таня.

– Лягу, конечно, – ответил он. – Куда я денусь? Но для меня это пренеприятное времяпрепровождение... Мысли лезут, и только дурацкие...

– Вот и мне, – обрадовалась Таня.

Он понимающе кивнул. Так они и стояли, спасаясь от бессонницы короткими затяжками дыма, который Таня не глотала, а осторожно выдыхала на стекло.

– Курить не умеете, – сказал сосед.

– Не умею, – засмеялась Таня, – но это не имеет значения.

«Спасибо человеку, – подумала. – Выбралась из состояния склочности».

* * *

Письмо в Мелитополь двоюродной сестре было обстоятельным и деловым. У нее, у Людмилы, на руках маленький. Юлька бродит по Москве, как беспризорная кошка. Ей так нужен сейчас кислород и йод. А где он в столице? А ведь впереди десятый класс. Есть и еще одна заковыка: мальчик. Ничего плохого между ними не было, но с глаз долой, из сердца вон! Так, что ли? Вот и лучше – вон... Может, сестра помнит, в школе за ней ухаживал занудливый такой парень, потом он много лет не давал ей покоя, мальчик Юли – его сын. Бывают же подобные совпадения! Людмила просит сестру любыми способами – «любыми» подчеркнута – держать Юльку как можно дольше. Каждый месяц они будут высылать семьдесят рублей и, пожалуйста, без слов. Девочка большая, хоть и родственники, а никто никому не обязан. А семьдесят – это те деньги, которые идут на Юльку от ее родного отца. («Скоро не будут идти, скоро восемнадцать, но ведь тогда расходов не будет, так закон, видимо, считает... Обойдемся, не война») Значит, милая, любыми способами держите Юльку... А она, Людмила, с малышом будет на даче. Володя вот-вот должен получить «Жигуленка». Уже пришла открытка. Писали они им об этом или нет? Когда снимаешь дачу, без машины – хана. Электрички – это место накопления онкологических клеток. Москва перенаселена, Москва кишмя кишит, и конца этому не видно. В чем-то они, провинциалы, гораздо их счастливее...

* * *

Ромка сидел «на берегу» и ждал Юльку. Сеня и Веня плавали рядом. Очередь обтекала его слева направо – в универсаме давали цигейковые шубы. Вчера она шла наоборот –

в обувном «выбросили» импортные войлочные сапожки. А позавчера, во вторник, очереди не было совсем. Он сидел два часа, он рассказал девочкам из отдела игрушек все байки, какие знал... А Юлька не пришла. Если ее не будет и сегодня, он пойдет к ней домой.

Он звонил долго-долго, может, час, может, три, пока из соседней квартиры не вышла распатланная девица с кофемолкой. Она открыла дверь и в упор стала разглядывать Романа.

– Чего ты добиваешься? – спросила она. – Каких результатов?

– Их что, нет? – глупо сказал Роман. – Вот звоню, звоню...

– Очень охота позвать милицию, – задумчиво произнесла девица, – выяснить, что ты за тип... Дебил или жулик?..

– Дебил, – ответил Роман и стал спускаться.

– Они на даче! – кричала вслед девица. – Кислородятся.

– Где? – спросил Роман уже с площадки.

– А я знаю? Не докладывали. А Юлька на юге. В Мариуполе, кажется.

– Фамилию не знаете, у кого она? – Роман уже возвращался назад. – У родни? У знакомых?

– Понятия не имею. Зачем это мне? – Брови девицы вздыбились от удивления.

– Ладно. Спасибо! – сказал Роман. – Мариуполь точно?

– Вроде... – Девица остервенело крутила кофемолку и смотрела вслед Роману. Ничего мальчик, вполне... Любовь, любовь... Ха! Сколько вокруг обожженных ею, казалось бы, сообрази и остерегись, а все равно летят на огонь как сумасшедшие. Девочки и мальчики... Комсомолки и комсомольцы... Рабочие, студенты и колхозники... Дураки и дурочки... Пусть летят... Она больше не полетит...

Девица пила кофе, которым можно было бы напоить дюжину гипертоников, а в ушах ее продолжал звучать долгий призывный звонок в пустую соседнюю квартиру.

* * *

Вера согласилась на Мариуполь сразу. После того как она отдала в школу за четыре трамвайные остановки личное дело Романа, она почти успокоилась. Оставалась малость: сообщить Роману, что его перевели в новую школу. Все были уже подготовлены. Вера не постеснялась даже сходить к бывшему учителю математики и сказать ему: «Евгений Львович! Я буду на вас ссылаться, что вы Ромасику рекомендуете другую школу. Где уровень выше». Математик был оскорблен – при чем тут уровень? Какие к нему претензии? «Господи! Да никаких! – сказала Вера. – Мне надо его забрать из этой школы». Евгений Львович ничего не понял из Вериных полунамеков («Девочка? Какая девочка? У них у всех девочки!»), но согласие на версию «о высшем уровне» дал. «Она взяла меня измором, – скажет он. – У нее какая-то своя сложная логика, но я вникать не стал». Вера собиралась подключить к этому и Татьяну Николаевну. Как только та вернется. Она даже слегка гордилась хорошо организованной интригой. Думалось: через много лет она будет рассказывать Роману всю подноготную его перевода. Вот уж посмеются вместе. Очень хорошо это виделось – она рассказывает, а Роман качает головой и говорит: «Бедненькая ты моя, столько хлопот из-за пустяков».

Так это хорошо представлялось, что Вера заранее переполнялась умилением. Пусть, пусть знает, как она мудра в своей материнской зоркости, и как ловка, и как сообразительна. Все, все оценит сын потом. Вера воспряла... Она узнает, почувствует из всех девушек ту, единственную, которая... Верьте не верьте, почувствует! И может, даже скажет сыну: «Ромасик! Не прогляди! Это она!» Вера могла представлять и дальше: внуков, например... Возможные семейные неприятности у Романа, и как она, мать, тактично и внимательно во всем разберется, и поможет, и выручит... И еще дальше: видела правнуков...

Видела, как она будет умирать в большой широкой постели против широкого окна. Нет, не умирать – отходить, и все вокруг будут плакать, а в ее душе будут звенеть бубенцы. Она даже сейчас слышала эти бубенцы из будущего, серебряный перезвон, и радостно вздыхала. Все будет хорошо. Ведь ведет же она его по жизни шестнадцать лет. И слава богу! А чего только не было. И воспаление легких три раза, и этот мальчишка, который учил его пакостям, и перелом ноги, и пожар, который Ромка устроил в детском саду. Все было. Но она во всех ситуациях была умней обстоятельств, и все кончалось хорошо. И в этой истории, она убеждена, надо вмешиваться и разрушать. Тут не может быть сомнений ни с какой стороны. Это даже хорошо, что Юлька – дочь Людмилы Сергеевны, что пришла его провожать. Они сами все определили, они сделали задачу предельно ясной, тут даже думать нечего. Вера гордилась собой.

А потом Роман с матерью уехали в Мариуполь, то есть, как выяснилось, в Жданов. Почему Вера так обрадовалась этому варианту? Потому что это не Сочи, не Ялта, не Паланга, это был не теплоход по Волге или Енисею, не вояж по столицам. Жданов – Мариуполь – рабочий город, и, значит, жизнь там дешевле, без снобистского курортного шика, а море там все-таки плескалось... Теплое и мелкое, это тоже было хорошо. К тому же выяснилось, что в Мариуполе можно не только отдыхать, но и поработать. Верин институт имел на металлургическом комбинате дело, и ей дали командировку на две недели. Вера испытывала небывалый подъем. Правда, она еще не сказала Роману о переводе в другую школу, но это успеется. Вот будут они лежать на берегу, прислонясь головами к какой-нибудь перевернутой лодке, и она ему скажет: «А знаешь, Ромасик...»

Он будет пересыпать песок из одной ладони в другую и ответит ей: «Где бы, мама, ни учиться, лишь бы не учиться». Такая у него была шутка.

Они сняли комнатку недалеко от моря, Вера уходила на комбинат, а Роман будто бы купался. («Не заплывай», «Не перегревайся», «Пей кефир, но смотри на число» и так далее...)

Роман ходил по городу. Он ни разу не окунулся за все время. Он перешагивал через голых на пляже, боясь раздеться и этим потеряться среди всех. Он боялся, что, несмотря на хорошее зрение, проглядит Юльку в этом царстве плеч, животов, ног, спин, одинаково загорелых, одинаково блестящих на солнце. Знать бы, какой у Юльки купальник! Знать бы вообще, какая она! И он мысленно, без волнения, без чувственности раздевал ее. В этом не было ни грамма секса, решалась научная задача: выделить, вычислить из общей массы одну-единственную – Юльку. Но ее не было. Вечером Роман валился без ног, а Вера сокрушалась, что он совсем не загорает, что он у нее огнеупорный. И она купила ему масло для загара.

В какой-то момент, в третий раз проходя по одной и той же улице, Роман понял, что Юльки здесь нет. Наверное, они разминулись. Он представил, как она сидит «на берегу» и ждет его, как таскает за носы Сеню и Веню, и понял, что надо уезжать. У мамы осталось три дня командировки, их надо будет как-то пережить. Только тогда он пошел на море, разделся, лег головой к чьей-то перевернутой лодке и сразу сгорел на солнце, потому что огнеупорным не был, а про масло для загара забыл. В последний день, уже купив билеты, к нему пришла на берег Вера. Она смущенно разделась, стыдясь своего белого, рыхлого тела; пряталась за лодку и была так поглощена этим своим смущением, что забыла сказать про новую школу.

* * *

Юлька своим ключом открывала дверь и не могла открыть. Она потрясла дверь, давно зная, что с неживыми предметами надо поступать так же, как с живыми: трясти, шлепать, тогда они подчиняются, слушаются, и действительно, ключ сразу вошел в щель, будто

вспомнил забытую дорогу, и дверь открылась. Пока Юлька втаскивала чемодан, рюкзак и сумку, на площадку вышла Зоя, соседка, с которой Людмила Сергеевна не советовала Юльке общаться. Считалось, что определенные университеты ею закончены давно, что Зоя живет по принципу за год – два, что с такими темпами к тридцати выходят в тираж. И негоже с ней девочке...

– Привет! – сказала Зоя. – К тебе тут парень приходил. Ничего из себя. Звонил до посещения, пока я его не прогнала.

– Роман?! – закричала Юлька.

– Не представился, – усмехнулась Зоя. – Не то воспитание.

– Когда он приходил? – Юлька вся дрожала от нетерпения.

– Ну, с неделю... Может, с пять дней... У тебя что с ним? Любовь? Ты, Юлька...

Но та умоляюще сложила руки:

– Зоя, не надо... Ладно? Ну, прошу тебя, не надо...

– Ничего не надо? – приставала Зоя. – Ни совета? Ни пожелания?

– Ничего, – сказала Юлька. – Ничего.

– Живи, – ответила Зоя. – Это – как корь, болеет каждый. Но одно скажу – ты с ним не спи...

Юлька захлопнула дверь. Жгучий стыд покрыл лицо, шею, даже между лопатками загорелся. Господи, какая она ужасная, эта Зоя, все правы, говоря о ней гадости, все... И тут услышала стук в дверь. Метнулась к ключу, но это Зоя, она прямо дышала в замочную скважину.

– Юлька, не сердись, – шептала она, – не сердись. Ты же знаешь, что я дура...

Юлька на цыпочках отошла от двери, чтобы не слышать этого проскальзывающего в квартиру шепота Зои.

– Я ушла, – громко раздалось через несколько минут за дверью. – Но ты помни, что я тебе сказала.

«Как хорошо, что я ничего не слышала! – облегченно подумала Юлька. – Я не буду на нее обижаться. Не буду. Она не виновата, что у нее все плохо. Но ведь и я не виновата, что у меня все хорошо?»

Три дня в пять часов таскала она за нос Сеню и Веню. Потом узнала у мальчишек, что Роман уехал в Мариуполь. Поплакала и собралась на дачу.

Летом они так и не встретились.

2

Только в конце августа Вера решила сказать, что перевела Романа в другую школу. От удивления он раскрыл рот и так и замер.

– Ты что, мать? – спросил он. – Белены объелась?

– Груби, груби, – до слез обиделась Вера. – Мне это надо? Мне? – За то время, что она молчала, она тщательно отработывала версию, не имеющую никакого отношения к Юльке. – У них сильный математик и физик, не нашим чета. Там есть физико-математический уклон, хоть школа и считается обычной. А, по сути, уклон есть... Мне это сказал директор. И в твоей школе все правильно поняли. Да, говорят, если хочет в физтех, то лучше другая школа.

– Кто хочет? – спросил Роман.

– Ты, – удивилась Вера. – Разве ты передумал?

– Значит, все-таки я... Значит, надо было у меня спросить, что я об этом думаю.

– Ромасик! – жалобно сказала мать и сложила руки на груди.

Вера сделала это от души, без подвоха, не подозревая, что именно этот материнский жест бьет Романа наотмашь. Никогда ему не бывает так жалко мать, как в эти минуты. Сразу

вспоминается почему-то, что мама – так говорят родичи, да и фотографии тоже – до родов была очень стройная, очень гибкая. А как только где-то в ее глубине «завязался» Роман, вся ее красота стала разрушаться.

«Твоя мать, когда тебя носила, была похожа на надувную игрушку, такая была отечная», – говорила бабушка. Стоило приехать кому-нибудь из ленинградской родни, и эта тема конца не имела. Ни у кого не хватало такта молчать об ушедшей Вериной красоте. Говорили, говорили, говорили...

Когда-то, лет в восемь, Роман после одного такого разговора очень плакал. Вера испугалась, стала расспрашивать, и он ей признался, что, если бы знал, как он ей в жизни навредил, не родился бы. И тогда Вера сложила на груди руки накрест и сказала: пусть бы она стала толще в три раза, пусть бы у нее было пять тромбофлебитов и десять гипертоний, пусть бы у нее были все хворобы мира, – все равно это никакая цена за то, что у нее есть такой сын... Романа отпаивали валерьянкой, так он рыдал после этого, а этот материн жест – руки накрест – остался сигналом, после которого он просто не может, не в состоянии с нею спорить. Пусть другая школа! Пусть! Увидеть бы Юльку, и все будет в порядке, увидеть бы, увидеть бы...

– Я избородил Мариуполь вдоль и поперек... Я тебя искал...

– Дурачок! Я ведь была в Мелитополе...

– Кошмар! Я убью твою соседку!

– Зою? Ой, не надо! Она и так несчастливая!

– Все равно убью за дачу ложных показаний...

– А я сбежала из Мелитополя. Скука смертная, целый день еда... Человек, оказывается, может съесть невероятное количество. Просто так. От тоски. От безделья...

– А ты не поправилась... Худющая, как вороненок...

– Я скучала, Ромка. Ночью проснусь и думаю о тебе, думаю... Боялась, вдруг ты меня забудешь...

– Ненормальная! Никогда так не думай, никогда!

– Давай не расставаться, я и не буду думать...

– Знаешь, я ведь буду в другой школе...

Роману показалось, что Юлька умирает. Так она задохнулась и откинула назад голову.

– Юлька! – закричал он.

– Почему? – едва выдохнула Юлька.

– Там уклон, понимаешь, физико-математический уклон. Ты же знаешь, наш математик не тянет...

– Ромка! Дурачок! Это они нарочно нас разделили, нарочно... Как ты этого не понимаешь, глупый!

– Да нет! – сказал Роман. – Нет! Просто уклон.

– Просто мы с тобой...

– Но ведь тогда это глупо, ведь нас-то разделить нельзя... Сама подумай!

– Я подумала, – прошептала Юлька. – Я знаю, что делать!

Татьяна Николаевна все узнала постфактум. У нее состоялся прелестный разговор с Марией Алексеевной, их директором. Умная, современная женщина, исповедующая передовые взгляды на школьную форму (устарела!), ратующая за демократичность отношений между учителями и учениками (демократизм есть дитя интеллигентности), невозмутимая, когда речь шла о повторных браках учителей («Ради бога! Были бы вы счастливы! От счастливых в школе больше проку»), Мария Алексеевна сейчас была маленькой и потерянной в своем кресле.

– Пожалейте меня, деточка! – говорила она. – Я этого боюсь. Ничего другого не боюсь, все могу понять и простить, а от этого холодею...

– Чего вы боитесь, Мария Алексеевна?

– Любовей, милочка! Любовей! Я же не господь бог, я прекрасно понимаю, что это та сфера, в которой я бессильна. Случись у них роман – и плевать они на нас на всех хотели. Они делаются дикими, неуправляемыми, они знать ничего не хотят. Смотришь – и уже эпидемия, пандемия. Все дикие. Все неуправляемые. Возраст? Возраст. Но если есть какая-то возможность сохранять аскетизм – я за это. Любой ценой! Газеты вопят о половом воспитании, фильм «Ромео и Джульетта» на всех экранах... На мой взгляд – это кошмар. Все в свое время, когда созреют души... А души в школе еще зеленые... Поэтому не напирайте на меня... Пришла Лавочкина и попросила документы по этой причине. Я сказала: «Ради бога! Понимаю и разделяю...»

– Вы посмотрите на Юлю. На ней же лица нет.

– Мне жалко девочку. Искренне жалко... Ей кажется, что мир рухнул в ее сторону. Но скажите, много ли вы знаете случаев, когда эти школьные страсти вырастали во что-то путное? И вообще вырастали?

– Мария Алексеевна! А вдруг это тот редкий случай?

– Тогда им ничего не страшно... Так ведь?

– Им страшно все, что их разлучает. Мы с вами в их глазах чудовища.

– Я по опыту знаю: учителя, которые в школе казались чудовищами, со временем меняют минус на плюс. Приятные во всех отношениях педагоги, как правило, ничего не стоят... и не остаются в памяти. Но мы не об этом. Милочка! Не мучьте меня больше вопросами на эту тему. Это моя ахиллесова пята. Я прячу и стыжусь ее. Вы молодая и жесткая и не умеете смотреть сразу с двух точек зрения. Но все-таки попробуйте взглянуть на все с моих седин.

– Я не видела и не вижу ничего страшного...

– Ну что ж... Одно могу сказать: кто-то из нас двоих слеп... Кто-то один зряч...

Таня шла домой пешком, через сквер. Осень была желтой, томной, кокетливой и не соответствовала состоянию Таниной души, в которой было синее, фиолетовое, черное... Эти цвета как-то естественно сложились в небритое и уставшее лицо доктора Миши Славина.

– Я женюсь, – позвонил он ей недавно. – Скажи мне на это что-нибудь умное.

– Поздравляю, – ответила Таня. – Дай тебе бог...

– Бог! – закричал Миша. – Запомни! Он ничего никому не дает. Он только отбирает. Ты просто нашла гениальную фразу, чтобы убедить меня: у нас бы с тобой все равно ничего не вышло...

Она положила трубку. Телефон трезвонил, и его назойливость обещала какое-то спасение, какой-то выход. Можно было откликнуться. Можно было сказать: «Приезжай. Бога нет. Я есть... Ты есть... Мы есть...»

Таня не подняла трубку. И сейчас думала: «Надо было выйти замуж в семнадцать лет, за того мальчика, который катал меня на велосипеде. Он катал и тихонько целовал меня в затылок, думая, что я не чувствую, не замечаю. А я все знала. И мне хотелось умереть на велосипеде – такое это было счастье. А с Мишей все ушло в слова. В термины. В выяснение сути. Суть чего? Когда тебе за тридцать, кто тебя посадит на велосипед? Миша бы сказал: «Велосипед? Это который на двух тоненьких колесиках? Ну, знаешь, я устал, как грузчик... Мне бы умереть минут на двести... И потом, солнышко, сколько в тебе кэгэ?»

Таня думала: «Я расскажу это при случае Вере. Будто не о себе. О другой. Расскажу. Надо, чтобы подвернулся случай».

Потом Татьяна Николаевна скажет: чего я ждала? Какого случая?

* * *

Юлька училась из рук вон плохо.

Только Таня завывала ей оценки, но она не реагировала на это. Ах, «четыре», говорили ее глаза, «четыре» задаром – ну и что? Что это по сравнению с тем, что Романа нет в классе? Она привычно поворачивала голову в ту, в его сторону и всегда наталкивалась на улыбающуюся, восторженное Сашкино лицо.

Никто не думал, не ожидал от Сашки такой прыти – занять парту Романа. И вообще это было открытие: Сашка влюблен? Он ведь о любви – только сквозь зубы, сплевывая, а тут занял чужое место и стойчески переносит это страдальческое Юлькино отворачивание. Вот она повернулась, увидела Сашку – не Романа! – и смотрит прямо. Но как! Столько в ее глазах плескалось женского неприятия, что думалось: это в каждой женщине, независимо от возраста, сидит вечное – увидеть «уши Каренина».

Они встречались с Романом там же, у бассейна. Сейчас это было трудно, часто не совпадали уроки. Кому-то всегда приходилось ждать, они беспокоились, Юлька почему-то боялась, что Роман, торопясь, может попасть под машину: в их районе открыли новую скоростную автотрассу. Когда он задерживался, она чуть не падала в обморок, представляя, как два грузовика сталкиваются прямо на Романовом теле. И тогда она выбегала из универсама, и бежала к дороге, и часто попадала, невидящая, прямо ему в руки.

– ...Ты куда?

– Я испугалась...

– Чего?

– Так просто... Нет, правда, ничего! Честное слово. Куда мы пойдем?

– Куда хочешь... Я так по тебе соскучился...

– Слушай, попросись обратно в нашу школу. У меня одни пары...

– Юлька! Давай потерпим, а? Ведь маленько осталось, да? Видишь ли, математика у них на самом деле сильнее. Я просто чувствую каждый день, как умнею... Понимаешь, хорошая подготовка – это вуз верняк; значит, мы сможем сразу пожениться...

– Если тебя заберут в армию, я все равно поеду за тобой.

– Дурочка! Это нельзя... У них говорят: не положено.

– Я тайком. Рабочих рук везде не хватает.

– Это у тебя-то рабочие?..

– Ты не удивляйся, у меня как раз и рабочие. Буду что-нибудь там пряхсть или стричь... Я ведь не очень умная, Роман, честно... И я устала учиться... Я способна только на что-нибудь очень простое.

– Ты работать не будешь, будешь воспитывать детей!

– О! На это я согласна! У нас с тобой будет чистая-пречистая квартира, много детей и хорошая музыка...

– И еще много книг.

– Заочно я окончу что-нибудь филологическое, чтобы правильно воспитывать наших малышей...

– Зачем?

– Надо! Я буду рассказывать им не про курочку Рябу, а древние легенды, сказки, в детстве это легко усваивается.

– Когда ты это все придумала?

– Ничего я сама придумать не могу. Мамина приятельница так воспитывала своего сына.

– Ну и что?

- Не смейся, жуткий вырос подонок... Но ведь литература тут ни при чем?..
- Надо было курочку Рябу...
- У нас будут хорошие дети. Я постараюсь...
- Скажи только сразу: будешь их насильно учить музыке?
- Буду!
- Учти: со мной этот номер не прошел...
- Ромка, мы с тобой дураки? О чем мы говорим? Мне уже стыдно...
- Ничуть! Надо знать, какое ты хочешь будущее, и его строить.

Готовя самые тяжкие испытания, жизнь способна предварительно парализовать волю тех, кто мог бы что-то предотвратить.

Вера уже после Мариуполя почувствовала себя хорошо и уверенно. Выбравшись за много-много лет в командировку, оторвавшись на две недели от вечно хворающего мужа, так складно и оперативно решив эту ситуацию с сыном, она вдруг ощутила себя мудрой, сильной, счастливой женщиной, которая может позволить себе ничего не бояться. Костя за две недели не умер, другую женщину не завел, Роман нормально пережил перевод в другую школу и рад ей, вернее, рад математике. Людмила Сергеевна на дороге не встречается. И ну ее, еще о ней думать! Вон как ее, Веру, Костя ждал из Мариуполя. «Я, – говорит, – на бюллетене обычно не бреюсь, а ради твоего приезда побрился». А про себя Вера отметила: и надушился. В общем, встретил ее хорошо пахнущий, любящий, соскучившийся муж. «Лю-у-ся! Люсенька!» – это уже вчерашний ее испуг. Это от нервов, от переутомления. Подумаешь, модные тряпки. Вера у спекулянтки купила бонлоновый костюм в две полосы – вишневую и белую. Живот подтянула – и вполне. В метро один привязался. «Вы, – говорит, – не просто прекрасная женщина, а богиня материнства».

На новую ступень самопознания поднялся в ту осень и Костя. Он вдруг осознал свои хворобы – радикулит, гипертонию, артрит и ларингит – не только как скопище неприятностей, мешающих жить и осложняющих отношения с начальством, а как некую единую Болезнь, которая требовала к себе уважения и почтения. Он даже успокоился, поняв, что болезнь переросла его и полностью подчинила. Этим самым она сняла ранее существовавшие неловкости: две недели в месяц неработы, постоянные хождения к докторам: «Опять спазм, опять колет...» Все встало на места. Есть он. Но есть и Болезнь. И он полюбил свою Болезнь больше себя, больше Веры, больше сына... Даже Люся, удивительная, прекрасная, далекая Люся, размылась, потеряла и цвет и очертания. Была и нету. И была ли? Костя стал умиротворен, беззаботен и счастлив этим своим новым состоянием. Правда, иногда, хоть и все реже, приходили старые друзья. Они произносили глупые, не имеющие конкретного смысла слова: «Ты мужчина», «Надо взбодриться», «В конце концов, совесть у тебя есть? У тебя же нет ничего смертельного!» Костя иронически улыбался. Какая чепуха! И Болезнь вознаграждала его за стойкость очередным бюллетенем, очередной прекрасной возможностью лежать и думать. Мысли были неспешные и мудрые. Вот глупо же, глупо выстроили именно здесь скоростную дорогу. Надо было на сто метров левее. Он доставал блокнот и легко, небрежно высчитывал экономию. Очевидность найденной ошибки веселила сердце, но огорчала граждански настроенный ум. И он садился писать письмо куда надо, хоть по неправильной дороге уже давно мчались машины, выгрызались под ними переходы, дорога обрастала завтрашним задуманным пейзажем. Но Костя истово писал, а Вера всем рассказывала, что он даже на бюллетене не дает себе покоя. Такой уж он человек.

В ту осень Людмила Сергеевна бросила кормить грудью сына. И вздохнула облегченно. Приобрела по этому случаю французские одежки с ног до головы. Во всем новеньком, купленном для выхода на работу, чувствовала себя молодой и красивой, а то, что прибавилось несколько лишних килограммов, так даже пошло на пользу – ни одной морщинки,

не кожа у нее, а роскошь! От Юльки между делом узнала, что Роман в их классе больше не учится. Вздернула вверх брови – почему? Юлька что-то пробормотала про математический уклон. «Слава богу», – подумала Людмила Сергеевна. На всякий случай небрежно спросила: «Я слышала, ты с ним дружила?» Но Юлька так взбесилась и так хлопнула дверью, что Людмиле Сергеевне ничего не оставалось, как сделать вывод: что-то было, да сплыло... Более того, подумалось: может, Юлька немножко страдает из-за этого Лавочкина, сына Лавочкина? «Надо будет, – решила мать, – рассказать ей, как за мной бегал Костя. Рассказать позлей, понасмешливей... Пусть представит Романа выросшим... Какой он будет надоедливый, прилипчивый, какие у него будут влажные ладони... А когда целуется – свист». Людмила Сергеевна даже передернулась. Легко, нечетко мелькнула мысль: а Юлька уже целовалась? Мелькнула и ушла – с кем? Она совсем ребенок. Трусики сорок второго размера. Никакой акселерации. И прекрасно. Посмотришь на этих современных кобыл и вздрогнешь. Девушки-деревья.

Володя же вообще был не в курсе. Все свое свободное время он лежал под «Жигуленком». Мысль о презренном существовании уже приходила ему в голову. Утешало одно: захочу продать – оторвут с руками. Машины пока еще товар не лежалый.

...Алена Старцева тоже перевелась в школу, где учился Роман. Объяснение было такое: в той школе ее пообещали оставить вожатой, если она не поступит в институт. Как это ни странно, но такой разговор с Аленой был на самом деле, вела его нынешняя вожатая, соседка Алены, которая заканчивала институт и получала уже на следующий год учительскую ставку. С Аленой они дружили и таким образом поладили.

Алена уходила громко. Она кричала, какая там прекрасная школа, какие там чудесные ребята, она расхаживала по классу и пинала парты ногами.

– Фу! – говорила она.

– Алена, может, зря? – спросила ее Татьяна Николаевна. – Мы тебя тут все знаем. У тебя математика еле-еле, а там очень сильный педагог. А захотят они тебя взять вожатой, и отсюда возьмут. Что за проблема?

– Нет! – сказала она.

– Куда Роман, туда и Алена, – сказал кто-то из ребят. – Это ж всем понятно!

– Куда Роман, туда и Алена! – это уже громко повторила сама Алена. И щеки ее с вызовом поблескивали между двумя косицами.

Таня посмотрела на Юльку. Та сидела ни жива ни мертва.

Как не испугаться воробышку Юльке этой большой, темпераментной, гневной Алены-«Нонны»? Сметет ведь!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.